

interaction

интеракция

interview

интервью

interpretation

интерпретация

INTER



INTER, 6'2011



Институт социологии Российской академии наук
Российское общество социологов
Международная социологическая ассоциация
Комитет «Биографии и общество»

6' 2011

© 2011 Журнал «ИНТЕРАкция. ИНТЕРвью.
ИНТЕРпретация»

Соредакторы номера:

Лена Иновлоки (Франкфурт-на-Майне, Германия)
Игорь Масалков (Москва, Россия)
Елена Рождественская (Москва, Россия)
Виктория Семенова (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

Розвита Брекнер (Австрия)
Том Венграф (Великобритания)
Леокадия Дробижева (Россия)
Кэти Дэвис (Нидерланды)
Ласло Курти (Венгрия)
Ольга Маслова (Россия)
Анна Роткирх (Финляндия)
Владимир Ядов (Россия)
Елена Смирнова-Ярская (Россия)

Ответственный секретарь:

Ирина Ксенофонтова

Адрес редакции:

117259, Москва
Ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5
Тел. (495) 128-86-18
Факс: (495) 719-07-40
e-mail: rusica@isras.ru



Содержание

Письмо редакторов	5
--------------------------------	----------

Теоретические дискурсы и дискуссии

<i>Michał Łuczewski, Paulina Bednarz-Łuczewska</i> Memory cultures and politics of history. A plea for Polish-Russian cooperation	7
---	----------

<i>Serguei Oushakine</i> 'I have no idea how to make myself useful': Chechen War veterans on the State that betrayed	14
--	-----------

<i>Елена Рождественская, Виктория Семенова</i> Социальная память как объект социологического изучения	27
--	-----------

Коллективная память в национальных контекстах: Россия-Польша

<i>Илона Голембевска</i> 17 января 1945 года в Варшаве: представление событий в польских школьных учебниках по истории	49
--	-----------

<i>Эва Кристина Селлава-Колбовска</i> Тяжелый груз воспоминаний и неудобные «места памяти». Исследование коллективной и культурной памяти о событиях 17 января 1945 года в Варшаве	58
---	-----------

<i>Войцех Полец</i> Культурная память в качестве определяющего отношения поляков к россиянам	69
--	-----------

<i>Mikhail Chernysh</i> Historical trauma and memory: the case of the Afghan war	77
--	-----------

<i>Роман Абрамов</i> «Советский чердак» российской блогосферы: анализ ностальгических виртуальных сообществ	88
---	-----------

Визуализация памяти

Елена Рождественская, Ирина Тартаковская
Пространство памяти в «Афганском» музее:
попытки договориться с прошлым **103**

Анна Стрельникова
Коллективная память в городском пространстве:
места памяти об Афганской войне **118**

Новые ракурсы рассмотрения памяти: опыт молодых

Наталья Мастикова
Фрагментарность памяти об Афгане у последующих
поколений: результаты фокус-групп со студентами **126**

Ирина Ксенофонтова
Виртуализация мемориальных практик:
интернет-сайт как «книга памяти» **133**

Письмо редакторов

Этот выпуск посвящен феномену памяти в социальных исследованиях. Эта проблематика широко дискутируется в исторических, устно-исторических, психологических, психоаналитических, визуальных студиях. Но сужение фокуса, продиктованного социологическим подходом, потребовало соотнесения понятия памяти в ее различных коннотациях — историческая память, коллективная память, социальная, память места, коммеморация и др., — для обозначения границ собственно социологического подхода.

Выбор статей для этого номера обусловлен, прежде всего, тем, что большинство авторов являются участниками российско-польского проекта «Историческая память как инструмент социализации и идентификации: сравнение России и Польши». Проект осуществлялся по Программе «Развитие научного потенциала Высшей школы (2009–2011 гг.)». Код проекта 2.2.1.1/14244, руководитель проекта д.с.н. Семенова В.В. Проект был организован по принципу «Учитель–Ученик», что отразилось в ведении рубрики «Опыт молодых».

Общим объектом исследования стала военная тематика, но в специфическом ракурсе меморизации. Если польские коллеги выбрали память о Второй мировой войне в дискурсе воспоминаний и учебников, то российская сторона обратилась к менее далеким событиям Афганской войны (1979–1989). В статьях номера нашел отражение анализ не только традиционных форм меморации (биографические интервью), но и изучение виртуальной памяти, музеефицированной памяти, городского пространства.

Редакторы Виктория Семенова, Елена Рождественская

Теоретические дискурсы и дискуссии

Memory cultures and politics of history. A plea for Polish-Russian cooperation

*Michał Łuczewski**

Paulina Bednarz-Łuczewska

Once upon a time a Russian and a Pole laid the foundations for modern sociology. Their names were Pitirim Sorokin and Florian Znaniecki. After years of 'dependent development' of Polish and Russian social sciences it is high time we came back to the forgotten classics. A joint study of memory cultures and politics of history is a very good point to start with.

It seems there are some lessons we can draw from the noble sociological ancestors. First is quite straightforward: we should communicate with one other, as they did. There is no intellectual creativity without constant cooperation. In a long exchange of letters, both scholars expressed great interest in one another's 'theory, their growing friendship, and a deep and grave concern with the general development of sociology' (Vaitkus, 1994. P. 230). Thus — and this is the second point — rather than imitating Western theoretical perspective we should try, drawing on it, to develop our own independent standpoint, which will combine both theory and research. Third, following in Sorokin's and Znaniecki's footsteps, we should look at society in its entirety. On this view, memory is not some self-contained phenomenon, but a part of broader social processes.

Accordingly, in our paper we present a general research-program to analyze memory cultures. In this, we begin by sketching possible approaches to study phenomena in question; we go on, then, to construct a perspective, which will allow us to define and explain memory culture and politics of history in Poland and Russia.

Approaches to memory

In analyzing social practices connected with a national past, social scientists can employ a wide range of approaches. In the first place, they can make use of sociology of memory and memory studies in general, the field that exploded in the early eighties (Assmann, 1995, 2009; Halbwachs, 1969; Lenz & Welzer, 2005; Nora, 1989; Olick & Robbins, 1998; Szacka, 2005). Alternatively, they can refer to the frameworks provided by museology (Popczyk, 2008), Kulturgeschichte (Hardtwig & Wehler, 1996) or aesthetics (Morawski, 2007).

All those possible and recognized perspectives have some limitations, though. First, at times they appear to be confined by their disciplinary boundaries, which leads to — in Raymond Boudon's apt phrase (2001. P. 1–14) — an 'anomic division of labor'. Aestheticians deal solely with aesthetics, and do not make use of the achievements of sociologists. Sociologists care about sociology, reluctant to learn lessons from historians. Museologists, for their part, create their own, self-sufficient conceptual world.

* Michał Łuczewski — Assistant Professor at University of Warsaw, luczewski@gmail.com, Paulina Bednarz-Łuczewska, doctorant.

Second, academic disputes are a battleground of particular memory cultures. There is always a temptation to use science as a refined tool to legitimize politics. Under the veil of neutral language, scholars can promote vision of history characteristic of their own nation, while questioning rival visions. In consequence, rather than characterize and explain cultures of remembrance and politics of history, they actually reproduce them (Brubaker and Cooper, 2000). This threat is especially serious in museology, the discipline most directly related with commemoration of a particular national history. This can be illustrated with popular terminological oppositions, such as museum-agora versus museum-temple, which, when transferred from analysis of art museums to historical museums, imply that a democratic 'agora' is 'better' than a monological 'temple' (Cameron, 1972). The same problem applies to the two very terms we are concerned with: 'memory culture' (resp. 'culture of remembrance') and 'politics of history' (resp. 'politics of the past'). They both were introduced into the scientific discourse by the German scholars, who attributed more positive meaning to the former and more negative to the latter Pitirim Sorokin.

Given his immense erudition and breadth of interests, Sorokin had a knack to demonstrate that sociological discoveries are merely repetitions of old ideas. 'The main body of current research — he wrote — represents mainly a reiteration, variation, refinement and verification of the methods and theories developed by sociologists of the preceding period' (1965. P. 834). Not surprisingly, we can find some fundamental Tilly's insights in Sorokin's work — and not only his. As the former half-jokingly remarked: «Rediscovery of those arguments in my old teacher's writings recalls one of Sorokin's preferred putdowns. 'A very good idea, Mr. Tilly,' he would rumble in his heavy Russian accent, 'but Plato said it better'» (Tilly, 1984. P. 28).

It does not matter, then, that we can trace back Tilly's logic of explanation of social phenomena to Sorokin's texts. Neither does it matter that social movement theory (SMT), which resembles in many aspects Tilly's perspective, was developed already in the thirties under the auspices of Florian Znaniecki by his beloved student, Jozef Chalasiniski (see Luczewski, 2009). The point after all is not whether it is Tilly's theory, but whether it is a good theory.

We believe this theory is good indeed, as it allows to use and integrate intuitions from within particular disciplinary perspectives and, at the same time, it provides us with a broad explanatory apparatus. In other words, employing SMT should make it possible to transcend partial approaches, while drawing on their best elements.

Second, SMT allows us to look at cultures of remembrance and politics of history not merely as phenomena in themselves. We consider practices of memory to be a part of social reality (see classic work by Halbwachs, 1969) and, therefore, we believe that they are subject to the same processes as is society as a whole. In consequence, memory studies would stop being a self-contained discipline and would be reconnected with mainstream sociology.

SMT enables us, third, to notice that social reality is dynamic. Simultaneously, it reveals that our identities are not of collective or individual, but of relational nature, for every relation between social subjects leads to a change in their particular identities. Polish identity would be different without the Russians, and Russian identity would be different without the Poles.

Fourth advantage of SMT is its relatively high level of development. After all, it is one of not so many domains in the social sciences, in which one can speak of consistent accumulation of knowledge (Collins, 1994, 1999; Tarrow, 1999; Tilly, 1999). Among its dominant trends, several are particularly worth mentioning: the *resource mobilization* perspective (McCarthy and Zald, 2001), which stresses the potentiality of acquiring resources (especially in the form of funds and supporters) via social movements; *political processes theory* (McAdam, 1982; Tarrow, 1994), which focuses on the political context of movements (state strength, its democratic vs. authoritarian character, divisions within the political elites, etc.); finally, the interpretative perspective, which deals with rhetorical aspects of social movements (*framing*; Benford, Snow, 2000). Currently, after a period of forming rival schools and approaches, the main aim of the SMT-scholars is to bring the theories together into a single and consistent perspective (Snow et al., 2007). We would like to follow in these footsteps (see McAdam et al., 2001).



From what has been said it should follow that SMT has many promising advantages for memory studies. Yet, we still do not know how to realize this promise. Let us go one step further, then. Memory as a social phenomenon has to be experienced, at least potentially, by social actors. If nobody remembers, memory does not exist. In Pierre Nora's (1989. P. 9) phrasing, memory, granted it has a social resonance, 'crystallizes and secretes itself' in objects, he calls *lieux de memoire*, i.e. 'memory sites' or 'realms of memory'. 'Memory attaches itself to sites — the French historian notices — [...] from such natural, concretely experienced *lieux de memoire* as cemeteries, museums, and anniversaries; to the most intellectually elaborated ones' (Nora, 1989. P. 22). Nora refers here to films, archives, flags, banners, libraries, festivals, dictionaries, persons etc.

Now, if we look at such sites from the perspective of SMT, we will see that their goal — as intended by the authors — is often mobilization. Memory sites can be founded and used by social movements and the state alike to advance their respective goals. It is exactly for this reason that the use of social movement theory is ever more justified.

Definitions

The concepts 'memory culture' (resp. 'culture of remembrance'; *Erinnerungskultur*) and 'politics of history' (resp. 'politics of the past'; *Geschichtspolitik, Vergangenheitspolitik*; Frei 1996) became popular in Germany in the late nineties. Although it is not the right place here to trace their history (see Kohlstruck, 2004. P. 178–181; Troebst, 2005. P. 2–9), let us point out in passing that they still have not acquired established definitions, and, as a result, they are often used as one another's equivalents (Assmann, 2006. P. 273–274; Nijakowski 2008: 41). For instance, what Edgar Wolfrum considers part of politics of history (1999, see Mazur 2009) is presented by Michael Kohlstruck (2004) as a prime example of a culture of remembrance.

In the literature of the subject, however, there is a strong tendency to differentiate analytically between the two terms. While 'politics of history', an idea first formulated during the renowned *Historikerstreit*, is related to the realm of the state (Leggewie and Meyer 2005), 'memory culture' tends to be associated rather with the notion of civil society (Assmann 2006: 273). In addition, while 'politics of history' denotes official celebration, 'culture of remembrance' is related to everyday practices (Kohlstruck, 2004; Troebst, 2005).

As social scientists, we can conceive the cultures of remembrance and politics of memory as structures or as processes (see Van Dijk, 2001). Alternatively, in terms of the classical typology formulated Jerzy Szacki (1971. P. 98–146), we may say that memory culture and politics of history can be examined as either a subject or as an object. While in the former case, we would be concerned with the content, i.e. *what* is presented, in the latter, it would be the practice of *how* it is presented. It seems that in the literature, it is the latter approach that dominates, for, in dealing with the content, we would be using terms like 'social imaginaries', 'nationalism', or 'ideology' (Anderson, 1997; Baczko, 1994; Gellner, 1991).

Drawing on our analysis, let us define 'culture of remembrance' and 'politics of history' as **practices whose aim is to construct images of national past**. Thus understood, all actions taken by social and political subjects in order to establish a certain interpretation of national history would belong to the realm of cultures of remembrance and politics of history. Practices which fit this definition most usually (a) select arbitrarily real and imagined historical facts, (b) disregard some facts, while highlighting other, (c) represent positive or negative relations within a nation as well as with other groups; finally, they make claims about (d) the causes of historical events or (e) their consequences.

Let us now focus on the differences between 'memory culture' and 'politics of history'. In distinguishing between the terms we will be using a following framework, based on two dimensions¹:

¹ We are referring here to the classic works of Halbwachs (1969), see also: Assmann (1995), Lenz & Welzer (2005), Szacka (2005), Billig (2008) and Mucha (1996).

a) Subject of a practice. Who is realizing a given type of action that deals with the past? Schematically, we can speak of three possible subjects: individuals (micro-scale); social groups and institutions (collective practices within the civil society; mes-scale); states (political practices of governmental institutions; macro-scale). We can distinguish two types of practices related to national past: bottom-up (individual →society → state) and top-down (state →society → individual).

b) Type of media. How are the interpretations of the past articulated? Again, we have three levels: individual (e.g. Mr. Kowalski recalls the Polish history; the level of internalization), public discourse (Mr. Kowalski's vision of the past published by a paper, or broadcasted on TV news; the level of externalization); cultural artifacts (Mr. Kowalski's vision preserved in a realm of memory, such as a museum, or a monument; the level of objectivation). Along with every such step, from the individual level through public discourse to the cultural artifacts, past-related practices become more solid, and more objectivated.

Not until we have left the individual level and shifted onto the social/political as well as the public discourse/cultural artifacts levels, can we speak of culture of remembrance or politics of history. **Culture of remembrance consists of past-related practices realized by the society, and politics of history-of those realized by the state.** In other words, politics of history is, by definition, top-down (state-led), while culture of remembrance-bottom-up (society-driven). Both culture of memory and politics of history, however, can be externalized via public discourse (social organizations, as well as the government, can start media campaigns, and realize their historical 'soft power'). Both of them can also be objectivated by means of cultural artifacts (when it is a government that creates a new site of memory, we speak of politics of history, and when it is a social organization — we speak of culture of remembrance).

This can also be summarized in a following table:

Table 1. Culture of memory and politics of history

<i>Past-related practices</i>	<i>Collective (civil society)</i>	<i>Political (the state)</i>
Discourse (the level of externalization)	Culture of memory, realized through the discourse, by the society	Politics of history, realized through the discourse, by the state
Cultural artifacts (the level of objectivation)	Culture of memory preserved via places of memory	Politics of history preserved by monuments and museums

Such a typology allows us to grasp the dynamics of national past-related practices. We have already mentioned the processes of externalization and objectivation of the imaginaries of the past. Yet, we should stress once more that a culture of memory can be politicized by the state, much as politics memory **can** be — so to say — 'cultured', once the image of the past it is constructing becomes internalized by the society. In other words, the culture of memory can emerge from some earlier politics of history, and the politics of history may well arise and progress on a cultural basis.

Explanation

According to SMT, explaining a phenomenon demands a combination of two procedures. First, we need to characterize the social context of a given site of memory. We will be considering, then, whether an idea behind a particular *lieu de memoire* was facilitated or resisted by politicians (political context) and other public figures such as journalists or scientists (cultural context). The second procedure is to give account of how interactions between particular individuals / groups / institutions / organizations, which took place in a given — favorable or unfavourable —



avorable — social environment, lead to the emergence and development of a *lieu de memoire*. Usually, culture and politics tend to, eventually, intersect with one another at some point. The two main schemes of how a realm of memory comes about is top-down (characteristic for politics of history) and bottom-up (typical of culture of memory).

The context and the type of interactions between the social subjects lead to the formation of a new site of memory. But this is not the end. Each *lieux de memoire* represents a different national ideology. In order to characterize it more closely, we are going to take notice of three phenomena. First, what type of identity is being constructed by the given place (usually, it is reflected in the name of the place). Second, what sort of relationship between different identities is emphasized — conflict or cooperation; how intense this conflict / cooperation is; who is assigned to 'us', and who is rejected as 'them'. And third, what kind of narrative is being told around the given identity; in particular, whether the group in question is presented as WUNC (worthy, united, numerous and committed) (Tilly, 2005).

The final stage of analysis of a site of memory is a description of its social consequences. To this, we have to describe, first, what are claims of a site on the public and political spheres, i.e., how does it affect politicians (if it is an element of politics of history), journalists and scientists (if it is an expression of culture of memory); second, what means are being used in order to achieve the goal of a site, i.e. what is its repertoire and campaign; third, is a place effective in terms of mobilizing people (qualitative and quantitative indicators).

In short, a full analysis of a given site of memory should undergo six stages of research:

- A. Political and cultural context
- B. The agents' activity
 - *top-down* (PH)
 - *bottom-up* (CM)
- C. Identity
 - Assertion of identity
 - Relations between identities
 - Narratives (WUNC)
- D. Goals
- E. Means
 - Campaign
 - Repertoire
- F. Effectiveness

Conclusion

In accordance with this general research-framework it is possible to describe and explain all imaginable memory sites: museums, monuments, anniversaries, films etc in Poland, Russia and elsewhere. Nevertheless, we do not want merely to get to know a particular memory site, but a memory culture and politics of history of our nations in general. Moreover, it is not until we have compared Poland and Russia in this respect that we are able to describe and explain our respective memory cultures and politics of history. Put differently, we have to adopt a comparative perspective, as without a systematic comparison neither description, nor explanation is possible (Gerring, 2004). Such a comparison would be executed on the following dimensions:

- a) political and cultural context (in which one of the two countries is it more favorable? For what type of initiatives?)
- b) the agents' activities (are they initiated by the state or the civil society? What type of activities are top-down and bottom-up? Are there any distinguishable tendencies or trends of change within the memory cultures and politics of history?)
- c) identities (who is being commemorated? What narratives are being told about the commemorated groups, what connections between groups are being established?)

d) goals (what are the aims of the organizations dealing with commemorating the past? Who is their main address?)

e) means (what repertoire is being used? Traditional or innovative?)

f) effects (what is effectiveness of the activities?)

We will be able to answer those fundamental questions, provided we start a joint research. Empirical investigation will constitute an ultimate test of the framework's validity its usefulness or indeed uselessness. Alternatively, we can pursue any other viable project. The point is we should communicate with one other, as Pitirim Sorokin and Florian Znaniecki did.

Литература

- Anderson B. (1997) *Wspylnoty wyobrazone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu*. Warszawa-Kraków, Znak.
- Assmann A. (2006) *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*. Munich, Beck.
- Assmann J. (2009) *Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cywilizacjach starożytnych*. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
- Assmann J. (1995) *Collective Memory and Cultural Identity*. *New German Critique* 65, pp. 125-133.
- Baczko B. (1994) *Wyobrażenia społeczne*. Warszawa, PWN.
- Benford R., Snow D.A. (2000) *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. *Annual Review of Sociology* 26, pp. 611-639.
- Berger P.L., Neuhaus R. (1996) *To Empower People. From State to Civil Society*. Washington, AEI Press.
- Billig M. (2008) *Banalny nacjonalizm*. Kraków, Znak.
- Boudon R. (2001) *The Origin of Values: Sociology and Philosophy of Beliefs*. New Brunswick, Transaction Publishers.
- Brubaker R., Cooper, F. (2000) *Beyond 'Identity'*. *Theory and Society* 29(1), pp. 1-47.
- Cameron D. (1972) *The Museum: A Temple or the Forum*. *Journal of World History* 14(1), pp. 191-202.
- Collins R. (1999) *Socially unrecognized cumulation*. *The American Sociologist* 30(2), pp. 41-61.
- Collins R. (1994) *Why the Social Sciences Won't Become High-Consensus, Rapid-Discovery Science*. *Sociological Forum* 9, pp. 155-77.
- Frei N. (1996) *Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit*. Munich, Beck.
- Gellner E. (1991) *Narody i nacjonalizm*. Warszawa, PIW.
- Gerring J. (2004) *What Is a Case Study and What Is It Good for?* *American Political Science Review* 98, pp. 341-354.
- Goodwin J., Jasper, J.M. (1999) *Caught in a Winding, Snarling Vine: The Structural Bias of Political Process Theory*. *Sociological Forum* 14(1), pp. 27-54.
- Halbwachs M. (1969) *Tytuł Społeczne ramy pamięci*. Warszawa, PWN.
- Hardtwig H., Wehler H.U. (red.) (1996) *Kulturgeschichte heute*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kohlstruck M. (2004). *Erinnerungspolitik: Kollektive Identität, Neue Ordnung, Diskurshegemonie*, in: Schwelling, B. (ed.), *Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft*. Wiesbaden, VS.
- Leggewie C., E. Meyer (2005) *Ein Ort, an den man gerne geht. Das Holocaust-Mahnmal und die deutsche Geschichtspolitik nach 1989*. Munich, CHV.
- Lenz C., Welzer H. (2005) *Zweiter Weltkrieg, Holocaust und Kollaboration im europäischen Gedchtnis. Ein Werkstattbericht aus einer vergleichenden Studie zur Tradierung von Geschichtsbe-wusstsein. Handlung, Kultur, Interpretation*. *Zeitschrift für Sozial- und Kulturwissenschaften* 2, pp. 275-295.
- Mazur Z. (2009) *Steinbach: o władanie interpretacją przeszłości*. *Biuletyn Instytutu Zachodniego* 31.
- McAdam D., Tarrow, S. i Tilly, Ch. (2001) *Dynamics of Contention*. Port Chester, Cambridge University Press.
- McAdam D. (1982) *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago, University of Chicago Press.
- McCarthy J.D., Zald M.D. (1977) *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*. *American Journal of Sociology* 82 (6), pp. 1212-41.
- McCarthy J.D., Zald M.D. (2001) *The Enduring Vitality of the Resource Mobilization Theory of Social Movements*, in: Turner, J.H. (ed.) *Handbook of Sociological Theory*. Berlin, Springer, pp. 533-565.
- Morawski S. (2007) *Wybór pism estetycznych*. Kraków, Universitas.



- Mucha J. (1996) *Codziennosc i odswietnosc. Polonia in South Bend.* Warszawa, Oficyna Naukowa.
- Nijakowski L. (2008) *Polska polityka pamieci. Esej socjologiczny.* Warszawa, WaiP.
- Nora P. (1989) *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.* *Representations* 26, pp. 7–25.
- Olick J., Robbins J. (1998) *Social Memory Studies: From 'Collective Memory' to the Historical Sociology of Mnemonic Practices.* *Annual Review of Sociology* 24, pp. 105–14.
- Popczyk M. (2008) *Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych.* Krakow, Universitas.
- Snow D.A., Soule S.A., Kries, H. (2007) *The Blackwell Companion to Social Movements.* Oxford, Blackwell.
- Sorokin P. (1965), *Sociology of Yesterday, Today and Tomorrow.* *American Sociological Review* 30 (6), pp. 833–843.
- Szacka B. (2005) *Czas przeszly. Pamiec. Mit.* Warszawa, Scholar.
- Szacki J. (1971) *Tradycja. Przegląd problematyki.* Warszawa, PWN.
- Tarrow S. (1994) *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarrow S. (1999) *Paradigm Warriors: Regress and Progress in the Study of Contentious Politics.* *Sociological Forum* 14(1), pp. 71–77.
- Tilly Ch. (1984) *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons.* New York, RSF.
- Tilly Ch. (1999) *Wise Quacks.* *Sociological Forum* 14(1), pp. 55–61.
- Tilly Ch. (2005) *Identities, Boundaries and Social Ties.* Boulder, Colorado University Press.
- Troebst S. (2005) *Postkommunistische Erinnerungskulturen im östlichen Europa Bestandsaufnahme, Kategorisierung, Periodisierung Postkommunistyczne kultury pamieci w Europie Wschodniej Stan, kategoryzacja, periodyzacja.* Wroclaw, WUW.
- van Dijk T. (2001) *Dyskurs jako struktura i proces.* Warszawa, PWN.
- Vaitkus S. (1994) *The Znaniecki Correspondence. A first Archival Review,* in: Znaniecki F., *What are sociological problems?* Poznań, Nakom.
- Wolfrum E. (1999) *Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990,* Darmstadt 1999.

'I have no idea how to make myself useful': Chechen War veterans on the state that betrayed

*Serguei Oushakine**

The Chechen war became, perhaps, the most vivid metaphor for the lawlessness (*bespredel*) of the 1990s and early part of the next century in Russia. It exposed the least attractive features of the post-Soviet state: its cruelty, its indifference, and its lack of responsibility. War is never an organized event; and the history of every generation of war veterans is always a history of trauma, confusion, and disillusionment. Yet the Chechen war, like the Korean and Vietnam wars in the United States, added to these veterans' traumatic biographies a profound feeling of being betrayed — by the Russian state, by the military leadership, by the general public.

This case is more than the familiar story about yet another generation of soldiers and officers misused by their government. In a concentrated form, this group shows what happens to strong state-oriented identities when the state suddenly removes its legal, economic, and symbolic support. With some obvious limits, the relationship between veterans and the state described in this chapter has an obvious parallel with the situation created by the collapse of the Soviet state in 1991. Back then, the lifting of the pressure of the paternalistic state did clear a lot of space for free action. At the same time it undermined the basic conventions that for several decades had regulated a large variety of social relations. Even more important, it made meaningless the identities of those who had been taking the state and its institutions seriously and forced these individuals and groups to redefine and renegotiate their self-perception and their social position in radically changing conditions. Based on interviews with veterans of the first Chechen war in Barnaul (Altai), in this essay I want to explore symbolic strategies through ex-combats normalized their war experience in a post-war environment¹.

Many of my meetings with Chechen war veterans in Barnaul took place during the autumn of 2001. The United States had just started a military campaign in Afghanistan, and there was much discussion in the local press about a supposed plan of the American government to hire veterans of the Chechen and Afghan wars to participate in the U.S. operation in Afghanistan. The source of this idea was not quite clear; nonetheless several veterans were interviewed by local media about possible contracted service for the U.S. army. My conversation with Vitalii B., a twenty-four-year-old participant in the first Chechen war, took place just a few hours after a local TV channel had taped his comments. Excited by the sudden attention, Vitalii summed up the prevalent attitude to the possible involvement in a new war:

I'd go to Afghanistan. And there is a very simple reason for this. I have been here, at home, for three years now, and I have no idea how to make myself useful. Yes, we have this [Chechen] veteran movement, and it is all very interesting, but! But the state does not want to help us, it cannot help us. And I am not talking about myself; I am talking about everybody...

* Sergey Oushakine, Assistant Professor, Department of Slavic Languages & Literatures, Princeton University, oushakin@princeton.edu.

¹ The essay is based on a part of the chapter from my book *The Patriotism of Despair: Loss, Nation, and War in Russia*, Cornell University Press, 2010.



There is nothing. There are no elementary things. A guy comes back from the war... The state gives him some privileges if he decides to study at a university. But no university would ever accept him. Everything he had learned at school, he totally forgot during the war! Everything! ... I'd go to Afghanistan. And it is not because I want it. War is foreign to me. But today this is a way to secure my own future.

There are several important themes in this comment. First, Afghanistan does have a special meaning for Russian soldiers. As a part of the regular army, 620,000 troops participated in the Soviet war in Afghanistan in 1979–89; more than 15,000 were killed during this time. Initially neglected, participants in the Afghan war became glorified in the early 1990s, when memorials and monuments were created throughout the country by ex-servicemen and parents of fallen soldiers (Picture 1, 2).



Picture 1. Memorials to Afghan war veterans: stone of remembrance with the sign 'Bagram' in Minsk (Belarus), 2004. Courtesy of Elena Trubina.

In that respect, the attraction of the new Afghan possibility, at least to some extent, stemmed from the social recognition that Afghan veterans enjoyed in the first half of the 1990s. The comparison with the Soviet invasion in Afghanistan would be used by veterans of the Chechen war as a basic narrative device for structuring their own military experience and postwar claims. There was another, no less crucial, reference in Vitalii's comment that also would become typical. The appeal of a (new) war was rationalized by constructing the following juxtaposition: the extended period of one's own social and professional dislocation was paralleled by a perceived indifference of the state to the fate of its servicemen.

Demobilization emerged as an individual dis-localization vis-à-vis the disengaged state. Nikolai F., a Chechen war veteran, developed this idea further in an interview:

'We realize what kind of policy it is. As if a puppy is thrown into a river, and if the puppy manages to get to the surface, it means that it is worthy of living; if not, so be it... We do not like to see the state performing this sort of policy toward us.



Picture 2. 'Black Tulip,' a monument to Afghan war veterans in Yekaterinburg (Russia), 2007. Photo by author.

'It appeared that the state-conferred identity balanced on the verge of implosion when the state retreated from its subjectifying function. Hence the trope of abandonment was frequently linked with images of personal deterioration. The question of being worthy of living after the war was turned into a recurrent theme.

In their studies of autobiographical documents and fiction written by Vietnam War veterans, scholars have pointed out that fragmentation of language and personal narrative was one of the main discursive tools that veterans used to describe themselves. Ex-soldiers and literary critics often referred to this conscious aesthetic of disintegration as 'fragging,' using a term that during the Vietnam War described soldiers' assassination of their officers with fragmentation



grenades. In soldiers' prose and poetry, stylistic and narrative disintegration was a way of exploding the official presentations of war. A controlling device of sorts, the discursive fragging worked both as a form of self-defense (self-distancing) and an act of reclaiming language (Bibby, 1993; Gotera, 1993; Hidalgo, 1993).

My informants' stories of collapse and disintegration seemed to follow this general tendency to fragment in order to symbolically control the traumatic experience. In a somewhat similar way, the narrative of self-disintegration was also replayed in war poetry and songs that were widely circulated among the Chechen war veterans. One example of this poetic fragging highlights the theme of postwar collapse.

'Statistics,' a song written and performed by A. Musin, opens a special collection of tapes *From One War to Another (Ot voiny do voiny, 2002)* (Picture 3).



Picture 3. 'From One War to Another.' The cover of a tape recording of soldiers' songs. DD Music, 2002.

The epigraph on the tape cover spells out the main message: 'Songs sung from the heart' (*pesni, spetye serdtsem*). Though the lyrics are mainly focused on the outcome of the Soviet invasion in Afghanistan, they have a clear reference to the current situation: 'today' is described as 'the time of returning to war, with no one paying for it.'

Relying on a single formula, the author (and the protagonist) throughout the song cites statistics for different types of war veterans' behavior. In its aggregated form, this socio-poetic listing represents the collective corpus of war veterans: 'Every first [man] who has been there [in the war], will never forget it'; 'Every third has no energy to prove anything to anyone'; 'Every fourth has not cooled off and is ready to fight'; 'Every sixth has retreated

from everything, sticking to the Bible or Koran'; 'Every ninth screams at night, waking up from a nightmare.' And finally:

*Every twentieth sees in his life nothing but vodka and tears;
And his life is like a vicious circle that makes mourning roses closer.
Every thirtieth is on a needle, not believing that he is a drug addict;
And the only thing that could bring him back is yet another portion of stuff.
Every two hundredth has no arm or leg; and prosthesis hardly makes sense;
And no benefits could possibly help, no privileges would ever work.
Sometimes, one in a hundred makes his way to prison;
Even this is too many, but this is the only case that we are always reminded about.*

This grim archive of available identities is periodically interrupted by a chorus that explains the nature of this deplorable state. There is no mysticism, the song elaborates: *'It is just statistics that put a deadly noose around us / Every single one of us is in this trap, only our numbers differ / And those who have not been killed by the syndrome / Are being killed by some other means.'*

The statistical trap is presented here as a diversely differentiated list. However, what is striking about this gloomy poetics is that the differentiation emerges in 'Statistics' as a typology, a set of generalized features. Individual biographies are turned into aggregated qualities; the overwhelming anonymity ('only our numbers differ') pairs with profound pessimism ('a deadly noose'). This anonymity, this self-erasure, is an account of one's own ruin, an outline of one's own 'desubjectification' (Agamben, 1999). What this poetics of disintegration repeatedly reveals is an implicit recognition of the fact that no symbolic envelope, no positive meaningful receptacle has been able to produce the desired structuring effect (Lacan, 1997), as if war horrors have seamlessly morphed into the horrors of everyday life.

It is useful to approach these narratives of self-disintegration through the Althusserian idea about the subjectifying force of ideological state apparatuses. In the essay on ideology and ideological state apparatuses, Althusser linked ideological framings and subjectivity: through rituals of ideological recognition 'abstract individuals' are turned into concrete, distinguishable, and irreplaceable subjects (Althusser, 1971). In his oft-cited example, Althusser described how this recognition happens: individuals are walking down the street when a policeman hails, 'Hey, you there!' In most cases, an individual turns around, suspecting or knowing that it was he who was supposed to be hailed (ibid.).

In this reading, ideology is not necessarily equal to brainwashing or to a purposeful distortion of reality. Instead, its task is to situate the subject in the midst of this reality by making it 'possible to act purposefully' within incomprehensible social situations (Geertz, 1973). The goal of ideology is to single the individual or collective subject out of an abstract human mass, to 'animate' the subject into existence, as Judith Butler puts it (Butler, 1997). The anecdote reveals another important moment: hailing (or interpellation) works because it is expected. It is effective because there is a willingness — on the part of the emerging subject — to be addressed.

It is precisely this idea of the hailing expected from ideology that is important in discussing the state's symbolic role in defining veterans' identity. Veterans' stories of fragmentation describe a situation in which ideological state apparatuses have failed to deliver the anticipated call. The stories also outline the general dilemma of having a strong state-related identity in a weak state. The collapse of the context and institutions, which used to support such an identity, rarely activates a search for new identifications. Rather this withdrawal of the basic (and familiar) support reinforces a desire to maintain prior identities as firmly as possible. Imposed by the state and internalized by veterans, military self-perception is transformed into a generative cliché, into a social template that is expected to perform a necessary classifying function in times of peace. In the absence of ideological hailing in the postwar life, ex-servicemen are lost when they face the necessity of reentering a nonmilitarized society. Recurring attempts to reenact the traumatic experience in rituals and militarized employment, the attrac-



tion of 'banal militarism' as a way of avoiding difficulties of returning to civil life (Cock, 2005), are rooted precisely in this lack of nonmilitarized forms of interpellation by the state. It comes from the feeling, to use the veteran's phrase, that 'there is nothing' else to hang onto.

In many cases, the malfunctioning of the ideological state apparatuses was revealed through veterans' routine anthropomorphizing of the state: metaphors of the deaf state, the state that doesn't notice or doesn't hear were common in veterans' discussions. Yet what these metaphors displaced was not the demand for being heard but a desire to be hailed, addressed, and differentiated by the state.

During one of my interviews, after a veteran's long tirade about society's 'universal indifference' to their postwar lives, I tried to see if veterans themselves would be willing to reverse the dynamic by hailing the state and the public. I asked my interlocutor if he had ever tried to talk to local journalists or intelligentsia to draw public attention to his cause. The answer was negative. As this veteran insisted, people did not really need to know about the ordeal the soldiers had to go through in Chechnya. Instead, I was told, to understand what the veterans' experience was about 'everyone should watch *Saving Private Ryan*, a Steven Spielberg film (1998), in which a team of American soldiers is sent to rescue a paratrooper lost during the battle for Omaha Beach in Normandy in June 1944. Nikolai F., a participant in the first Chechen war, translated the meaning of this film about suffering and rewarding salvation in terms of the post-Soviet reality: 'If the state managed to turn us, civil people, young guys, into boeviki, well, not quite that, let's say, into warriors [voinov], into people who know how to fight, then the state should think hard about the way it can turn us back into civilians.' These expectations for the authoritative hailing were destined to remain futile. Once again, the state withdrew, unwilling and often incapable of addressing the complicated issue of soldiers' demobilization. The weak state became a state that betrayed.

Benefits of war

In my conversations with veterans, I was always surprised by their persistent reluctance to discuss the goals of the war in Chechnya (or the military operation in Afghanistan). My question about the goals of the war was usually dismissed as irrelevant; at best, veterans would simply justify the status quo by saying that there must have been 'some reason'. Critical opinions were few, and in their attempts to frame relations with the state in terms of business exchange, veterans continued the same old strategy of depoliticizing the war. In displacing these 'whys' the veterans of the Chechen war were not original, though. Samuel Hynes in his historical study of soldiers' narratives has traced the same tendency: soldiers of different wars and different generations have usually preferred to leave these 'whys' in the shadow of their descriptions of combat experience. Regardless of the type and timing, war memories seem to be following the same plotline: with some predictable variations, the descriptions of mud, lice, cold, or heat radically overshadow the infrequent questioning of political rationales that determined these wars in the first — place (Hynes, 1997).

However, as Hynes insists, 'the soldier assumes — must assume — that if he did ask that question, if he were allowed to ask it, there would be a rational answer, that what he is doing and suffering makes sense to someone farther up in the chain of command' — (ibid.). What happens when no reasonable explanation can justify one's experience of horror?

When I asked Kirill P., a Chechen war veteran, to describe his perception of people's attitude to veterans, he told me about one incident. The Altai regional government issued free transportation passes for the veterans. Using such a pass, Kirill once boarded a tram, where he was confronted by a female ticket officer. With a big magnifying lens, she closely examined Kirill's pass, deemed it fake, and demanded that Kirill leave the tram. The veteran refused, despite the officer's threat to call the police. As if dismissing the importance of the story, Kirill finished his description with a phrase: *'Those who know us, they realize very well that we have already paid our Motherland in full.'* This instantaneous translation of a failed monetary transaction into a metaphoric

hor of exchange and sacrifice was the most characteristic feature of veterans' commentaries. Many sincerely believed that the state had not delivered its part of the deal. As one veteran put it, *'the state has not settled the account [with us]'* ('gosudarstvo ne rasschitalos').

Ironically, by building their postwar narratives around descriptions of literal or metaphorical payments, veterans endowed the notions of money and debt with a strong moral connotation. The theme of compensation, benefits, privileges, and money emerged alongside the theme of patriotic duty. Sometimes both themes complemented each other, and economic benefits were presented as a logical sign of respect and recognition. Sometimes the two themes contradicted and undermined each other, construed as two totally incommensurable ways of acknowledging veterans' war past. What seemed to be constant in both cases was the assumed understanding that the state was ultimately responsible not only for veterans' postwar economic dislocation but also for the crisis of their state-oriented identity. Both themes were deeply rooted in the recent Soviet past. Both also suggested important modifications that allow us to trace changes in relations among individuals, groups, and the state in post-Soviet Russia.

By the end of the 1980s, the Soviet state had created an elaborate (but not necessarily very effective) system of support for the veterans of the Second World War. Organized hierarchically (the type and number of benefits were associated with types of veterans' state awards and/or injuries), the system included special food and department stores for ex-servicemen, as well as personal privileges such as free housing, free or heavily discounted food packages, cars, medicine, health care, transportation, and other in-kind benefits. When in the middle of the 1980s veterans of the Afghan war — *afgantsy*, as they are usually called — started forming their first unions, they aimed at reproducing the benefit system created for the previous war's generation. In the early 1990s, the Russian state, unable to allocate any funding for social programs for Afghan war veterans or to deliver those programs in kind, decided to grant (or was lobbied into granting) significant tax privileges to organizations that united the most vulnerable category, injured and disabled ex-soldiers. In two special decrees in 1991 and 1993, President Yeltsin granted to three major umbrella organizations of Afghan war veterans complete immunity from excise duty on imported goods and foodstuffs and provided them with a set of tax incentives for conducting financial operations and for carrying out various types of entrepreneurial activity (Government acts, 1991, 1992, 1993)². The country was experiencing a sharp shortage of food and consumer products. Hence it was expected that the funds accumulated by the Union of Invalids from these operations would be spent on building housing and providing necessary medical and financial support for veterans³.

My Barnaul informant, Igor K., a leader of the Union of Veterans of the Chechen War, stressed the same point in a conversation, when he referred to the *afgantsy* as a path that Chechen war veterans preferred to avoid: *'Predominantly, it was not the veterans who took advantage of the privileges that were granted by the state to their organizations. The opportunity was seized by smarter and more competent civilians. Veterans were pushed overboard.'*

Given the rapidly changing political, economic, and ethical background, how could Chechen war veterans collectively and individually sustain their claims to the state's support in everyday life? There were still some signs of practices associated with the benefit system

² О Российском фонде инвалидов войны в Афганистане. 1991. Указ Президента РСФСР от 30 ноября 1991 г. № 248; О деятельности Союза ветеранов Афганистана (К постановлению от 9 августа 1988 года, № 989). Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 362; О мерах государственной поддержки деятельности общественных объединений инвалидов. 1992. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2254.

³ Frants Klintsevich, a member of the Russian parliament and a high-profile functionary of the All-Russian Union of Veterans of Afghanistan pointed out in 1997 that because of their cooperation with criminal groups, *afgantsy* foundations were able to pocket roughly one billion dollars (Шабуркин Александр. «Афганцы» опровергают обвинения в свой адрес / *Независимая газета*, 8 октября 1997 г.).



designed to support veterans of various Soviet military campaigns. However, a wide-scale implementation of this system was hardly possible even in the late 1990s. Taking the afgangtsy model as their main reference point, Chechen war veterans accommodated it to changing conditions.

There was much discussion about mutual support and mutual responsibility between the two generations of war veterans. Despite multiple and very significant differences, a considerable family resemblance between the two generations was obvious: Chechen war veterans often refer to themselves as 'younger brothers of *afgantsy*,' and their public identity *chechentsy*, as they call themselves (that is, Chechens, from Chechnya) is based on the same toponymic approach. Much of this similarity is determined by institutional proximity: the first groups of Chechen war veterans emerged in Barnaul as informal chapters of local unions of Afghan war veterans. Strengthened financially by privileges granted in the early 1990s, local foundations of afgangtsy provided a new generation of veterans with immediate financial and legal support, performing a consolidating function that used to be monopolized by the Komsomol organization. By the mid-1990s, a growing understanding of their own specific interests, taken together with the elimination of economic privileges and the negative public attitude toward afgangtsy, resulted in a new organization that united participants of the Chechen war in the region.

The Chechen war veterans' distancing from the previous generation of veterans was also provoked by a traditionally divisive practice of governmentality. Unlike Afghan veterans, whose postwar legal status had been determined by the law *On Veterans* (1994), which basically equated them with veterans of the Second World War, participants in the Chechen war had no legal framework that could outline or even clarify their postwar rights and entitlements. As previously indicated, the Russian government was careful not to frame the war in Chechnya as a war; officially, it was referred to as a counter-terrorist operation, or, at most, as combat or fighting activities (*boevye deistviia*) in the North Caucasus. Correspondingly, there were no war veterans but only participants in combat activities who were not covered by the existing law and were not eligible for the statewide subsidies or assistance that could be relevant in their case.

The unequal legal conditions of the two generations of veterans and the lack of civic identity attributed to Chechen war veterans produced tensions in sibling-like relations. One veteran described the source of this tension with the 'Afghan brothers' well: '*We are an independent organization, yet we are always together with [Afghan war veterans] on each and every question. The end result, though, is strange: we exist, but as if we don't matter. . . . We don't want to be in the role of extras anymore.*' Attempting to play their own independent role, Chechen war veterans in Barnaul founded a regional nongovernmental organization of invalids and former participants of military conflicts, *Bratstvo* (Fraternity). The organization was created in February 1997 after an annual festival of soldiers' songs established to commemorate the withdrawal of the Soviet Army from Afghanistan.

Despite its name, the main person behind this organization was a woman, Marina Shaul'skaia, who had no military experience but a good deal of expertise in social work. From the early 1990s Shaul'skaia was in charge of the department 'social benefits' of the Altai Union of Afghan Veterans. Throughout the 1990s, she also wrote scripts and directed all major public events of the Committee of Soldiers' Mothers, as well as Altai's afgangtsy. She managed to bring *chechentsy* together and to establish a vital connection with local power structures.

When I interviewed her in 2002, Shaul'skaia had already severed her ties with the Afghan and the Chechen war veteran movements. I asked her if there was any visible difference between these two generations. Referring to the idea of a post-Soviet ideological vacuum, she said, '*The Afghan war veterans had some limits, they still had something sacred. The younger [veterans of the Chechen war] have nothing of this. They are totally different. There was no ideology, and you could see what happened because of this. The [first] Chechen war was outside of*

ideology. Everybody was on his own, surviving. What was desired was not victory by any means, but prosperity at any price; a desire to get above everyone else.'

Shaul'skaia's comment notwithstanding, this emphasis on prosperity and individualism among chechentsy certainly had some resemblance to the social trajectory of Afghan war veterans. In the Chechen war veterans' case, there was a major financial reason that pushed this individualism even further. With the beginning of the war in Chechnya, financial subsidies to war veterans, abolished in the spring of 1995, returned. This time, however, subsidies came in a very different form: corporate taxbreaks and exemptions were replaced with individualized payments. At the end of 1994, the Ministry of Defense doubled the base salary for contract officers and tripled the per diem allowances to servicemen deployed in Chechnya. As a result, a soldier's 'combat payments' (*boevye vyplaty*), as they are usually called, could easily come up to \$1,000 a month, roughly six times more than an average salary in the country at the time. Normally deployed for up to six months, servicemen often returned from Chechnya with a substantial amount of cash, at least in theory (Parlamentskaya gazeta, 20.09.2000; Izvestiya, 17.11.1995; Na strazhe rodiny, 28.09.2002; Agenstvo voennykh novostei, 09.1999). But payments were often delayed. To preclude robbery and murders associated with combat money, the Ministry of Defense started transferring funds to its local divisions that drafted soldiers in the first place rather than paying cash in Chechnya. However, money transfers frequently took several months or even years in some cases. In this situation, demobilized soldiers would get caught up in military red tape, which increased their sense of general dislocation (Svobodnyi kyrs, 23.11.2000). In Barnaul, the Union of Veterans of Chechnya, (UVC), an umbrella organization that enlisted more than two thousand individuals and several smaller organizations (Bratstvo included), spent a large part of its time helping veterans to secure their combat payments. The legal and accounting work associated with combat payment arrears was organized in the UVC by several women who were girlfriends or wives of veterans (as I was told). Veterans themselves, often not having received the education necessary for such paperwork, usually resorted to direct negotiations with local administrations. The individual nature of these monetary exchanges with the state helps explain why there was little collective action among veterans.

Combat payments significantly modified veterans' assumptions about an exchange of sacrifices: the payments set a clear financial benchmark, a certain level of economic expectations below which veterans did not want to sink. Against the sign of personal financial success epitomized by combat payments, low-income jobs available in the region were not even considered as the starting point of a potential career. Veterans dismissed them out of hand even as a temporary occupation. As Vitalii explained, *'Yes, job banks have vacancies; they say there are seven thousand positions available today. But, excuse me, a guy who went through all that [war experience], he just would never even think about this job, this "occupation" for 600 rubles [\$20] a month. He would never think about it. Because he knows his own price.'*

The quick conversion of salary into personal worth is instructive. Sacrifice, to recall Simmel, 'is not only the condition of specific values, but the condition of value as such . . . it is not only the price to be paid for particular established values, but the price through which alone values can be established' (Simmel, 1978). Hence, one's war experience, one's potential sacrifice of his life, was used as the ultimate measurement for other social relations. Interactions, in short, were construed as exchanges. But as in any exchange, this particular desire to gain something else in return for what has been given up brought with it a double-sided conflict. As Vitalii's comment demonstrates, the search for an appropriate equivalent to mediate between one's sacrifice and its external recognition requires an ability to negotiate between different moral accounts. In other words, different 'regimes of value,' without which exchange would not be possible, are based on potentially conflicting expectations of this exchange; they also produce dissimilar interests associated with similar values (Appadurai, 1986). For Vitalii and many other veterans, competing regimes of value did not represent different points of view about social



exchange; rather, these differences were construed as attempts to justify failed exchanges that is, to justify exchanges that devalued the high price originally paid by veterans.

The comment also demonstrates how military identity is resuscitated in the postwar situation: entitlement to a better salary is justified not by better professional skills but by one's experience of war. Significantly, in his attempt to convert the military past into a postwar value, Vitalii failed to find any stable or even positive representation. Heavily rooted in the operation of negation ('would never even think'), his rhetorical strategy indexes rather than describes the starting and final points of the argument. Neither the formative war experience ('who went through all that'), nor one's own worthiness ('price') provided a graspable explanation.

There were other reasons that made veterans' military identity resurface, too. Postwar failures to find a way of making use of themselves, described by Vitalii, had much to do with veterans' backgrounds. Drafted mostly from rural areas of Altai, these men could hardly find employment after their return. Some ex-servicemen tried to find their way back to Chechnya or other hot spots and signed professional contracts with the Ministry of Defense or the Ministry of the Interior. By one local estimate, up to 30 percent of all contracts in the region were signed by veterans of the Chechen (and other 'post-Soviet') wars. Other men, perhaps following an aggressive advertising campaign organized by the regional office of the Ministry of Defense, signed short-term agreements to go to Chechnya in order to 'earn enough money to buy fur coats for their wives, or new TV sets... Or just to save enough money so that they would not have to build their life from the zero-level,' as a contract military officer observed (Altayskaya pravda, 2002) (Picture 4).



Picture 4. An advertisement for army service: 'I choose contract service [in the army].' Barnaul, 2006. Photo by author.

But military contracts did not come automatically: in 2003 out of two thousand men who submitted their applications, only twelve hundred were able to land an actual job. Yet, as one military recruiter described it, contractors from the Altai region demonstrated a persistently negative tendency. Usually coming from low-income families, these military servicemen were often stupefied when confronted with their relatively high salaries: "When these guys get hold of normal money, they have no idea what to spend it on. So, they "invest" it in alcohol... We don't keep people like that"(Altaiskaya pravda, 2003).

The majority of veterans, however, did not return to the war and preferred to find a job at home. Still, all veterans with whom I spoke described their immediate postwar time as one long drinking binge, 'A 100 percent zapoi,' as one veteran called it. While not exactly new among Russian men (Pesmen, 2000), this type of zapoi has its own distinctive economy. Combat payments made these binges financially possible. In turn, a lack of permanent jobs and relatively independent lifestyle (very few veterans are married or have long-term partners) provided social conditions necessary for this type of behavior. To quote Oleg, a veteran of the first Chechen war,

In 1996, after that [Khasavyurt] peace agreement, we all came back to this normal, civilian life. <...> Nobody even tried to find a job during the first couple of months because mainly it was zapoi. <...> With veterans, I drank for two-three months. Joy came only in a bottle. The common goal was to get drunk. A common interest was to get drunk, talk about the war; about the way things were then, to recall something from that time, to get totally pissed off at the whole world, and to start a fight with someone while drunk. <...> We had no time for psychological rehabilitation.

Frequently, *zapoi* would mark an extended period of liminality, with no clear way out. The state of the local economy did not make the situation any better. Apart from Barnaul, the region was predominantly agricultural, with limited demand for a seasonal labor force, low salaries, lack of career perspectives, and unattractive working conditions. This 'zero opportunity variant' (nulevoi variant), as a veteran aptly termed it, often forced ex-servicemen to move to Barnaul, the biggest industrial center in the region. However, very few veterans had useful connections, marketable skills, or even clear plans for starting new, urban lives. Their job choices were determined by their previous military training. They tried militarized state institutions police, security service, fire brigades, or tax police first, usually with no success.

Veterans' lack of success in obtaining professional employment in the governmental sector gave rise to a particular conspiracy theory. Applying for a state job in security-related areas often involved a comprehensive medical checkup. While physical tests are usually passed without any significant problem, mandatory interviews with a psychotherapist often cut veterans off. As Oleg K., an active member of the Union of Chechen War Veterans framed it, *'I think, they just had a special policy to get rid of participants [of the Chechen war] during this medical checkup. Simply, they want to get rid of us.'* Oleg recollected that during the interview with a psychotherapist he was asked to guess a popular proverb from the description suggested by the doctor. The proverb seemed to be hard to recall, and getting anxious about the possibility of failing the crucial test, Oleg asked the doctor if she herself knew the proverb. The reaction was somewhat off-putting: 'Don't be rude, young man.' A verbal exchange between the psychotherapist and the veteran that followed right after that effectively resulted in the verdict that ended any aspiration for the state-related career: 'Not fit for the job' (ne goden).

It is because of experiences like this that veterans were reluctant to seek any psychological rehabilitation. Social workers and psychologists from the Men's Crisis Center, which was created in Barnaul precisely in order to help veterans of the Chechen war, unanimously told me that the center did not manage to attract the veterans' attention. Mentioning the 'Chechen syndrome,' a term widely used in the media to describe the postwar (and post-traumatic) condition of veterans (Svobodnyi kurs, 18.01.2001), could provoke a flurry of negative emotions



and angry accusations similar to the one I got during an interview with Nikolai F.: *'We veterans need no psychologist at all... You people have this understanding that if we fought a war it means we are imbeciles [duraki]! But in reality, a person who went through a war is prepared for life better than anyone else.'*

Failed psychological tests were not the only catalyst. Veterans' attempts to find jobs in the private sector provided plenty of similar examples. The military ID (*voennyi билет*) of each veteran of the Chechen war bears a clear stamp — 'participated in combat activity' (*uchastnik voennykh deistvii*) — and usually indicates the number of 'combat days' spent in Chechnya. Issued by the state, the ID must be submitted with a job application to a potential employer. Veterans were convinced that this stamp was often read by potential employers as a diagnosis, as another disqualifying stamp: 'Not fit for the job.'

The area where veterans did succeed in landing jobs was in private industry that required militarized skills. For example, after several months in his own village, with no job and no prospects, Viktor Z., a paratrooper, decided to move to Barnaul. He had neither close relatives nor friends in the city. For some time he managed to share a room with a man whom he had not known at all before, but who was a relative of a friend. His first big job was a security guard/doorman in a bar. In the interview, Viktor emphasized what appeared to be a very unusual fact. His first employer had needed neither recommendations nor background-check phone calls to hire him. Apparently surprised by the act of recognition that required no additional steps, the veteran continued: *'On their own, they themselves just personally accepted me [sami ot sebja lichno menia priniali]. And I started working; and people liked it. People would come and say, 'Glad to see you.' Even customers did that!'* The security job in the bar led to another position. A local businessman offered Viktor the job of a bodyguard/chauffeur. For two years Viktor drove this man and other businessmen around the town, accompanying them on business trips to other cities when needed. After meeting with several veterans who had organized a local Union of Veterans of the Chechen War, Viktor decided to quit the job in order to work full time in Bratstvo. As he put it, *'We had a discussion among ourselves, and decided that we just didn't like the way it was going on.'*

Viktor's decision to quit reflected a general feeling among veterans. Practically every conversation that I had with ex-soldiers would eventually evolve into a discussion about friendship ties and military bonds formed by the combat experience. Some of them framed it in terms of nostalgia. *'It is not a nostalgia for blood or death that hangs freely around there,'* as Aleksei T., a veteran of the first Chechen war emphasized. *'It is a nostalgia for relations, for situations when people would die for each other; where the collective was one perfect wholeness.'*

The appeal to an idealized community tested by blood and death is a standard response to one's own dislocation. Studies of American soldiers who participated in the Iraq war similarly indicated that it was 'solidarity with one's comrades,' the bond of trust developed in the field that motivated the soldiers most. The following quote from an interview with an American soldier in Iraq could be easily paralleled by similar examples from interviews with Chechen war veterans: *'Everybody just did what we had to do. It was just looking out for one another. We weren't fighting for anybody else but ourselves. We weren't fighting for some higher-up who is somebody; we were just fighting for each other'* (Wong and others, 2003). It was exactly this bonding component that was missing from the postwar lives of Chechen war veterans.

The trope of combat brotherhood had an additional meaning in the history of Russia, too. Memorialization of the Second World War, which accelerated in the Soviet Union in the 1960s, capitalized on the symbolic possibilities that the notion of war-tested solidarity provided. Back then, in the wake of Khrushchev's Thaw, the melodramatic tone of war films and the intimate intonation of the so-called war lieutenants' prose helped to extricate the victory in World War II from the messy problem of the Stalinist legacy. In post-Soviet Russia, the intimate discourse of military friendship helped again to move one's attention away from political aspects of the war, from the unimaginable and unjustifiable number of casualties and refugees, from (often) incompetent military leadership. As if mirroring the disengaged state, veterans discovered

solutions of their problems in various forms of departure from the public sphere. In a reversed form, various images and practices of enclosed but understanding brotherhood provided striking illustrations of veterans' own notion of 'exit-less-ness' (*beziskhodnost'*): an experienced lack of entry into the world of the civilians was transformed into fantasies of a community of loss that walled itself off from the outsiders.

Literature

- Agamben Giorgio. (1999) Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. Trans Daniel Heller-Roazen. New York: Zone Books.
- Althusser Louis. (1971) Lenin and Philosophy and Other Essays. Trans. Ben Brewster. New York: Monthly Review Press.
- Appadurai Arjun. (1986) Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, ed. A. Appadurai. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3—63.
- Bibby Michael. (1993) Fragging the Chains of Command: GI Resistance Poetry and Mutilation. *Journal of American Culture* 16 (3).
- Butler Judith. (1997) Excitable Speech: A Politics of Performativity. New York: Routledge.
- Cock Jacklyn. (2005) 'Guards and Guns': Towards Privatized Militarism in Post-Apartheid South Africa. *Journal of Southern African Studies* 31 (4).
- Geertz Clifford. (1973) The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: BasicBooks.
- Gotera Vince. (1993) The Fragging of Language: D. F. Brown's Vietnam War Poetry. *Journal of American Culture* 16 (3).
- Graeber David. (2001) Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Dream. New York: Palgrave.
- Hidalgo Stephen. (1993) "Agendas for Vietnam War Poetry: Reading the War as Art, History, Therapy and Politics. *Journal of American Culture* 16 (3).
- Hynes Samuel. (1997) The Soldiers' Tale: Bearing Witness to Modern War. New York: Allen Lane.
- Lacan Jacques. (1997) The Psychoses. 1955—1956. The Seminars of Jacques Lacan. Book III. Ed. Jacques-Alain Miller. Translated with notes by Russell Grigg. London: Norton.
- Pesmen Dale. (2000) Russia and Soul: An Exploration. Ithaca: Cornell University Press.
- Simmel Georg. (1978) The Philosophy of Money. Trans. Tom Bottomore and David Frisby. New York: Routledge.
- Wong Leonard, Thomas A. Kolditz, Raymond A. Millen, and Terence M. Potter (2003) Why They Fight: Combat Motivation in the Iraq War. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Гуртенко Н. Контрактники — обратная сторона медали // Алтайская правда. 2002. № 5. Сентябрь.
- Демография: Русский крест // На страже Родины. 2002. 28 сентября. Участникам боев в Чечне государство будет выплачивать около 1000 долларов США в месяц // Агентство военных новостей. 1999. Октябрь.
- Захаров А. Военная служба: Направлен в Чечню — получи компенсацию // Парламентская газета. 2000 г. Сентябрь.
- Зюзин С. После Чечни наши парни бьются за свои боевые // Свободный курс. 2000. Ноябрь.
- Как лечат чеченский синдром // Свободный курс. 2001. Январь.
- Кулешов В. и Сагитов З. Добровольцы // Алтайская правда. № 259. 2003. Сентябрь.
- Михайлова Ю. Сначала забыли о мертвых, теперь — о живых // Известия. 1995. Ноябрь.
- Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. Москва: ОЛМАПресс, 2001.

Социальная память как объект социологического изучения

Елена Рождественская
Виктория Семенова*

Аннотация

Данная статья обсуждает проблемы социологического изучения феномена социальной памяти. В том числе такие проблемы, как объекты и субъекты социальной памяти, отношения между социальной памятью на национальном уровне и коллективными концептами памяти на уровне коллективного и индивидуального, официальный дискурс памяти и приватная память. Более подробно феномен памяти рассматривается на примере результатов эмпирического исследования коллективной памяти бывших афганцев, т.е. как «живая» память генерации тех, кто прошел опыт локальной войны в Афганистане в позднесоветское время. Меморизаторские практики бывших афганцев анализируются на базе глубоких биографических интервью, проведенных с ними в 2010 году.

Введение

Разрывы в истории (historical gaps — Hanna Arendt) обостряют интерес к прошлому, к проблеме связи времен, заставляя изобретать новые образы прошлого, которые позволили бы восстановить «распавшуюся связь времен». Современный интерес к прошлому вызвал переосмысление основных проблем, связанных с пониманием истории и памяти. Это коснулось, в основном, следующих направлений. Во-первых, единое восприятие времени сменилось осознанием того, что не существует как единого времени («школа Анналов»), так и единой культуры восприятия времени (Леви-Стросс): в разных культурах и на разном уровне социальности прошлое (или история) воспринимаются по-разному. Концептуальные представления о прошлом связаны с особенностями культуры отдельных обществ, классов субкультур (Adam, 1994). При этом существуют общества или отдельные социальные общности эмоционально более чувствительные к проблеме времени, где история (прошлое) становится чем-то вроде внутреннего двигателя развития и прогнозирования на будущее (Артог, 2004).

Вторая особенность — отношение прошлое-настоящее. В интересе к прошлому считают исследователи, центральным является интерес к настоящему как точке, где пересекаются восприятие «опыта» (прошлого) и представления о будущем — «горизонты ожидания». Это своеобразный диктат настоящего времени, которое ставит себе на службу как прошлое, так и будущее (Артог, 2004; Adam, 1994). Интерес к прошлому возвращается в новом виде: с его помощью пытаются освятить собственную теперешнюю идентичность:

* Рождественская Елена, проф. факультета социологии НИУ ВШЭ, вед.н.с. ИС РАН, erozhdestvenskaya@hse.ru.; Семенова Виктория, д.с.н., проф. Института социологии РАН, victoria-sem@yandex.ru.

через память, наследие, юбилеи, исторические празднества утверждаются и переосмысляются ключевые координаты осознания себя как общности. По мнению польского историка Едловски, память представляет собой «временное поле, в котором присутствует диалектическое единство прошлого, настоящего и будущего: с одной стороны, поток жизни во времени прошлого и настоящего предопределяет будущее, с другой стороны, именно настоящее «придает форму» прошлому, реконструируя и интерпретируя его с целью отбора всего того «значимого», что может пригодиться в будущем (Edlowski, 2001). Вследствие этого политика памяти становится аргументом для обеспечения сегодняшних интересов политических элит. Воспоминание, переработка или забвение — три точки одного континуума, который мы называем памятью. Не прошедшее прошлое — это прошлое, которое подвергается интерпретациями, наделяя события определенными смыслами, и эти смыслы зависят от современности (Вильцер, 2005).

Социологический интерес к феномену памяти с позиции «настоящего» продиктован поиском механизмов, порождающих и поддерживающих социальность. Память о прошлом необходима для социального взаимодействия, поскольку она, в качестве культурно-обработанного продукта, закладывается в представление о «должном» характере социального действия. Рефлексивное применение ресурсов памяти, более того, стратегическое использование ими, приводит к тому, что происходит «приписывание явлениям настоящего некоторого дополнительного значения. Это свидетельствует о прошлом, отсылает к прошлому, что противоположно «синхронизированному», социально согласованному как одновременное настоящему» (Филиппов, 2004. С. 49). Как ресурс социального взаимодействия, память подпитывает его информационно, конструирует значения для настоящего, вызывает эмоции и сопереживания и, наконец, косвенно, через социально-политические институты, обеспечивает социальную идентификацию. Меморизаторские практики, «места памяти» и ее ритуалы призваны напоминать о прошлом, провоцируя живейшие отклики или полное равнодушие, но апелляция к переживанию прошедшего превращает, стремится превратить прошлое в часть настоящего, придать ему смысл. Присутствующий здесь элемент политики по отношению к памяти высвобождает ее от диктата хронологии, но обнаруживает тем самым свой социальный характер: мы «помним» о тех событиях, в которых нуждаемся социально, будь-то Куликовская битва, или «забываем» те события, которые в определенные периоды противоречат социальному дискурсу, например, о Катыни. Как полагает А. Филиппов, социальная память выходит за рамки актуального опыта, более того, конструирующим моментом *Gemeinschaft'a* является не только память о фактах, имевших место в прошлом, но и об абсолютных событиях: учредительных событиях *Gemeinschaft'a*, сакральных и сакрализованных (возведенные в статус сакрально-реальных). «Социальная память есть тематизация в модусе значимого прошлого присутствующих в актуальном взаимодействии моментов, которые указывают на прошедшее, но мотивируют, вовлекают, парализуют рефлексии как актуальное *настоящее*» (Там же. С. 50).

Что вытекает из такого подхода к пониманию социальной памяти, простимулированного рефлексией критического дискурса? Какие следуют возможности для социологического анализа? На наш взгляд, принципиальны две основные задачи:

Во-первых, это работа по изучению селективной, интерпретативной и реверсивной функций¹ социальной памяти, и, соответственно, выявление механизмов искажения и стратегического управления социальной памятью, содержание политик меморизации.

Во-вторых, изучение механизмов порождения социальности и мобилизационных функций памяти (или, возможно, наоборот, к блокированию² определенных действий).

¹ Подробнее об этом на материале российской литературы см.: Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. Москва: Языки славянских культур, 2007. С. 159–209.

² Имеются в виду социальные стратегии управления памятью и забыванием: включение в память как увековечивание, исключение из памяти как репрессия, включение в память как репрессия, исключение из памяти как прощение.



Наряду с этим исследователи отмечают, что становится все более заметной разница между публичной культурой памяти (меморизацией), задаваемой школой, политикой, дидактикой мемориальных комплексов, с одной стороны, и частной памятью, сохраняемой в группах, семьях, с другой стороны, как различие между культурной памятью и коммуникативной. Подобному коллективному осмыслению времени соответствует усиливающаяся эмансипация отдельных меньшинств и групп, которые ранее не имели голоса и которые теперь строят собственную историю под знаком коллективной памяти. Символическое значение памяти в таких сообществах состоит в том, что послание из прошлого воспринимается как легенда, которая может быть расшифрована и прочитана по-своему, с позиции сегодняшних интересов данного сообщества. Такие послания из прошлого необходимы для того, чтобы выбирать свой способ поведения в практической деятельности (Oakeshott, 1983. С. 15–17).

Подобный подход ведет к формированию представлений о множественности «памятей» как представлений о прошлом в сознании разных социальных акторов, наделенных своим социальным опытом и интересами в настоящем. И поскольку универсальной памяти не существует, то носителями коллективной памяти является группы, ограниченные в пространстве и времени (Хальбвакс, 2005).

В результате такого многостороннего переосмысления подходов к прошлому и памяти в рамках социальных наук сформировалось особое направление, где социальная память рассматривается как социальный институт, и непосредственным фокусом изучения являются концепция социальной памяти (social memory studies). Этот подход вырабатывает свою терминологию и аспекты интереса.

В данном поле наиболее актуальными являются следующие аспекты:

- социальные институты аккумуляции и трансляции памяти;
- механизмы конструирования памяти на уровне индивидуального и группового;
- роль социальной памяти в формировании коллективных идентичностей.

Подход предполагает введение и обсуждение центрального понятия **социальная память**, которое противопоставляется истории как документальному закреплению событий далекого прошлого. Логика развертывания родственных понятий требует соотнесения этого понятия с другими мемами: с одной стороны — «историческая память», вызывающем неоднозначную реакцию научного сообщества, с другой стороны — коллективная память. В отношении коллективной памяти, коннотируемой с коллективными представлениями о прошлом, С. Московичи предлагает заменить ее на понятие социальные представления, усматривая здесь излишнюю антропоморфизацию предмета (групповой разум, массовая душа, коллективный индивид) (Moscovichi, 1987. С. 516). Это направление критики антропоморфизации коллективного субъекта продолжено отечественными социальными историками И. Савельевой и А. Полетаевым, которые полагают, что в данном случае происходит умножение сущностей: нет нужды в подмене терминов «социальные представления» или «знание» термином «память» (Савельева, Полетаев, 2005. С. 218). С другой стороны, мы также избегаем применения расширительного понятия историческая память.

В то же время в международном дискурсе вслед за Я. Ассманом и М. Хальбваксом используется понятие коллективная память, которая понимается как «живая» память отдельных индивидов или групп, как память «по свежим следам», когда эпоха еще жива и живы свидетели, которые в ходе своих коммуникативных практик формируют свои представления о прошлом и определенных событиях (Хальбвакс, 2005). Подход развивает идею о том, что коллективные представления обладают силой принуждения (волевой ресурс памяти) и что приверженность к группе «своих» в значительной мере предопределяет характер ее воспроизводства на уровне коллективного и индивидуального. Морис Хальбвакс, основатель социологии памяти, убедительно показал, что **главная**

функция коллективной памяти — сохранение единства сообщества и его воспроизводство. Действительно, семья, одноклассники, однополчане культивируют коллективную память и особенно дорожат свидетельствами своей общности. Всякое сообщество имеет свой собственный фольклор, набор историй, свою фотоисторию. Символические формы памяти могут разделяться не только участниками событий, но и теми, кто не был их свидетелями, но является «распространителем» или «наследником» такой памяти (например, песни и фольклор туристов). Коллективная память постоянно приукрашивается, фальсифицируется, мистифицируется. Ее функция — не сохранение прошлого, но сохранение коллектива и трансляция общего для него «архива». То, что справедливо для компаний, справедливо и для больших сообществ. Участвовать в оформлении этих коллективных архивов и нарративов, этого фольклора означает участвовать в трансляции и аккомодации определенных коллективных идентичностей. К восстановлению истории в ее подлинном виде такого рода практики прямого отношения не имеют, поскольку коллективная память находится в балансирующем состоянии между **историей и мифом** (Margalit, 2002).

Таким образом, в научном дискурсе на сегодняшний день нет единого понимания памяти. В одних случаях ее рассматривают в социально-философском контексте в понятиях социальной памяти, в историческом контексте подчеркивают коннотат «исторические представления». Тогда преимущественно используют понятие социальная память. Но в традициях М. Хальбвакса подчеркивается коллективный характер памяти, подразумевая взгляд группы на свой исторический опыт. Но при этом дискуссионным остается вопрос: как соотносятся индивидуально-автобиографическая память субъекта коллективного опыта с понятием «коллективная память». Возможно ли поставить знак равенства между суммой автобиографических воспоминаний, полученных в процессе нарративного интервьюирования, и дискурсом коллективной памяти исследуемой локальной группы? Мы склонны использовать термин социальная память, которая реконструируется в процессе коммуникации локальной группы по поводу пережитого опыта.

Социальная память поддерживает **групповые идентичности**. Она понимается как история «коллективных ментальностей», по метафорическому выражению П. Нора, которые могут не совпадать как друг с другом, так и с официальным дискурсом. Отсюда ориентация на изучение меморизаторских практик через изучение различных общественных движений, как организованных, так и неорганизованных, через изучение их активности и мобилизации ресурсов по сохранению / реконструированию / нивелировке памяти.

С уходом из жизни носителей памяти, для которых определенное событие является фактом собственной биографии, субстанция коммуникативной памяти исчезает и заменяется весьма приблизительным социальными представлениями. Таким образом осуществляется переход от «коммуникативной памяти» к «памяти культуры» (Борозняк, 2005). Коммуникативная память охватывает воспоминания, связанные с недавним прошлым, например, память определенного поколения (Я. Ассман).

Память культуры или культурная память — это представление, которое направлено на фиксированные моменты в прошлом и существует в модусе обосновывающего (наделяющего смыслом) воспоминания, связанного с его истоком или происхождением. В отличие от коллективной (коммуникативной) памяти обосновывающее воспоминание опирается не на социальное взаимодействие, но учреждается социальными институтами, которые определяют набор фиксированных элементов прошлого. Через культурную память прошлое сворачивается в символические фигуры, значимые с позиции настоящего. Культурная память кристаллизуется через временные или пространственные «сгустки» памяти (или «места памяти» по П. Нора), с которыми общество связывает свою память: мемориалы, празднования, музеи, юбилеи («Места памяти», Нора). Память становится символическим способом удержания (запоминания) прошлого, тем самым меняются ее социальные функции. Она становится способом



конструирования социального настоящего и социального будущего, инструментом социализации и идентификации последующих поколений, отдельных групп или целых наций. Это символические «места» «запечатления» прошлого, востребованного настоящим: флаги, места поклонения, праздники. Эти «места сохранения памяти» постоянно конструируются и реконструируются соответственно запросам настоящего. По уточнению П. Нора, здесь интересно не только то, что нация помнит, но и то, что она стремится забыть.

Необходимо упомянуть еще два близких термина, которые максимально отстоят от исторического референта события и отражают идеологодискурсивные усилия. Это **публичная память**, которая понимается как социальный продукт, возникший в обществе в результате селекции, интерпретации и определенного искажения фактов прошлого в сознании большинства населения. Это значение встречается у М. Хальбвакса, П. Нора, Дж. Хартмана. В этом же ряду понятие **официальной памяти** как ресурса и продукта государственного манипулирования, как способа политизации памяти (Дж. Хартман).

Из этих теоретических рассуждений выстраивается некое поле возможностей для социологической проблематизации и эмпирического изучения темы социальной памяти:

- социальные механизмы (институты) актуального освоения (или присвоения) прошлого: школа, политика, дидактика, мемориальные комплексы (музеи и памятники);
- власть как инструмент конструирования прошлого в интересах выстраивания национальной идентичности в настоящем;
- соотношение между разными уровнями существования социальной памяти: доминирующая — маргинальная; официальный — коллективно-групповой (коммуникативный) — индивидуальный уровень;
- практики по мобилизации социальной памяти в процессе коллективных коммуникаций меморизаторских сообществ;
- факторы меморизаторской активности как сообщества, направляющие свою деятельность «на прошлое», на формирование определенного образа прошлых событий;
- формы культурной памяти: внесубъектные «места» социальной памяти (памятные места, флаги, гимны, юбилеи, музеи).

В дальнейшем мы остановимся на изучении механизма функционирования коммуникативных практик, которые формируются в процессе меморизаторской деятельности. Нас будет интересовать: как при их помощи формируются общие нарративы памяти? Как проблематизируется опыт прошлого в практиках настоящего?

Для рассмотрения этих вопросов воспользуемся результатами коллективного проекта «Историческая память», проведенного в 2009–2011 гг. Данный проект, используя описанные выше подходы с позиции *memory studies*, был сконцентрирован на изучении феномена социальной памяти как способа конструирования локальных идентичностей посредством коллективных меморизаторских практик.

В содержательном отношении — это меморизаторские практики в жизненном опыте «бывших афганцев» как непосредственных носителей «живой» памяти о недавнем драматическом прошлом, Афганской войне (1979–1989 гг.). Эмпирический этап был методически подготовлен в 2009 г. (создание методических инструментов для разных видов исследования — в общей сложности 4 документа), само исследование проведено в 2010 г.

Афганская война как историческое событие для исследователей социальной памяти представляет интерес как случай коллективной памяти об одной из локальных войн XX века. При этом, по аналогии с другими хорошо изученными локальными войнами, например, Вьетнамской войной США, она представляет интерес как случай расхождения между официальным и публичным дискурсом памяти в отношении этой войны. По свидетельству исследователей параллелей между Афганской и Вьетнамской войнами (Сенявская, 2009) такое расхождение чревато долговременными социально-психологическими последствиями, более точно **социальной травмой**, для общественного

сознания: как для участников войн, так и для более широкого общественного мнения³. Первичной причиной такого расхождения между официальным дискурсом и коллективной памятью в случае локальных войн считается демаркационная линия между миром «войны» и миром «мира», когда большинство населения не имеет непосредственного опыта существования в условиях войны, тогда как ограниченное меньшинство прошло через опыт войны и смерти, преимущественно путем волевого принуждения к участию в войне со стороны властных структур. Поэтому наиболее значимыми считаются, прежде всего, психологические последствия локальных войн (вьетнамский синдром, афганский синдром), даже по сравнению с физическими потерями. Ситуация расхождения между официальным дискурсом памяти и памятью отдельных социальных акторов способствует более полному пониманию специфики феномена коллективной памяти отдельного сообщества.

Доминантой официального и публичного дискурса является понимание Афганской войны как политической ошибки, о которой надо поскорей забыть как о «прошлом позоре». Тогда как в дискурсе коллективной памяти бывших участников войны она ассоциируется с «исполнением интернационального долга» и воспринимается, в большей степени, как предмет национальной гордости. Отсюда некая отстраненность и настороженность в общественном мнении по отношению к носителям образа «бывших афганцев», которые могут напомнить об этом негативном прошлом опыте нации и национальном поражении. Официальный публичный дискурс в отношении Афгана существенно менялся на протяжении последнего десятилетия⁴.

В настоящее время в публичном дискурсе доминирует отношение к афганцам как «непредсказуемой опасности» и непонимание их менталитета, поскольку они (афганцы) обладают опытом, незнакомым большинству мирного населения. Фактически образ бывшего афганца исчез с общественной сцены. Он становится объектом общественного вни-

³ Термин травма в контексте *memory studies* относится к разряду дискурсивно употребляемых, хотя в упомянутом труде «Феномен прошлого» А.М. Руткевич как историк занимает критическую позицию по отношению к данному термину: «Совершенно непонятно, — пишет он, — как можно травмировать «коллективную память», если употреблять термины «память» и «травма» не в качестве ни к чему не обязывающих метафор. Термин «травма» обладает точным значением в области медицины» (Руткевич, 2005. С. 244). В данном отношении нам ближе позиция С. Ушакина, который, ссылаясь на многочисленную гуманитарную литературу, пишет: «Травматический опыт может быть не только объектом медицинского и психиатрического воздействия, но и предметом социального анализа. ... Травма не сводится к акту нарушения — или даже полного разрушения привычного образа жизни и сложившихся моделей самовосприятия. Скорее, травмирующим оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни. Травма, таким образом, переживается как своеобразный дискурсивный и эпистемологический паралич, как неспособность свести воедино три критических опыта: опыт пережитого, опыт высказанного и опыт осмысленного». При таком подходе, считает Ушакин, травма рассматривается как опыт утраты, как символическая матрица и как консолидирующее событие (Ушакин, 2009. С. 8).

⁴ С начала и до середины войны вокруг этой войны была выстроена система полной информационной блокады. Впоследствии и до 1989 года, когда была приоткрыта завеса секретности с событий и жертв афганской войны, приоритетной стала «героизация» образа афганца как «исполнителя интернационального долга», после 1989 г. проявилась резкая критика военных событий и относительно самих участников этой войны со стороны либеральных сил (выступление академика А.А. Сахарова на съезде Народных депутатов). В начале 90-х сформировалось более реалистичное отношение к самой кампании, с доминантой цинического отношения к афганцам со стороны общественного мнения: «мы вас туда не посылали» (Сенявская Е.С.). Негативное отношение к бывшим афганцам формировалось на фоне их активной тогдашней коммерческой деятельности и информации в СМИ об их связях с криминальными структурами.



мания только иногда: во времена юбилейных дат (ввод и вывод войск из Афганистана) или в связи с появлением нашумевшего фильма (например, «Девятая рота» Бондарчука).

В ситуации расхождения между официальным дискурсом по меморизации прошлого и социальной памятью отдельных агентов их практики по сохранению памяти вытесняются из поля публичной жизни. Наиболее активными становятся разнообразными самодельные практики, которые формируются самими непосредственными участниками сообществ по принципу низовой локальной активности, «снизу». Что касается бывших афганцев, то возникло большое число низовых (построенных по территориальному принципу) организаций, сообществ, клубов, где активность осуществляется преимущественно маргинально, на периферии социального пространства. Может происходить также самодельный «захват» чужих символических пространств для укрепления собственной легитимности в глазах общественного мнения, а мемориальные практики строятся как форма противодействия массовому стереотипу непонимания и страха по отношению к афганцам. В этом ситуация афганцев сходна с положением ветеранов Вьетнамской войны в США (Сенявская, 2009).

В ситуации с бывшими афганцами это привело к появлению множества инициативных «мест памяти», самодельных музеев, к формированию своих ритуалов и памятных дат. Гражданские кладбища, на которых захоронено много павших афганцев, стали местами поклонения и поминовения памяти павших. Проявилась также тенденция к сакрализации жертв афганской войны: изображение их в виде религиозных мучеников (Фото 1). Такие самодельные памятники приобретают иногда весьма экзотическую форму «смещения времен, стилей и идеологий», вписывая образ павшего воина в абсолютно разные, а иног-



Фото 1

да противоречивые идеологические рамки социальной памяти. На одном из кладбищ памятник выполнен как икона святого мученика, где символы традиционно русской воинской доблести (фон — знамя и древко флага) соседствуют со знаками современной военной славы (защитная камуфляжная полевая форма, голубой просвет тельняшки), а рядом — символы мученической религиозной атрибутики: нимб святого мученика, обрамление в виде иконы, свечка в руках солдата. Поскольку непроговорен и проблематизируется общий дискурс Афганской войны и статус ее жертв, то самодеятельный поиск форм памяти приводит к эклектике социальной рамки памяти относительно этого павшего воина, ставшего жертвой «позорной» войны, с точки зрения большинства населения. И в то же время ставшего святым «мучеником», героем отечественной боевой славы, с точки зрения самих афганцев, инициативно удостоивших его такой чести.

Разделяемая память и места меморизации стали ключевыми точками закрепления и поддержания групповой идентичности бывших афганцев. Инициативная активность привела к тому, что «места памяти» о прошлом (музеи, в том числе школьные, клубы, ритуалы и даты поминовения) стали также пространством для поиска «будущего» — как формы передачи этой памяти последующим поколениям, местом формирования чувства патриотизма у молодежи. Однако в условиях социальной изоляции и специфики «своего» понимания патриотизма, основанного на опыте войны, их способы формирования последующего поколения весьма специфичны.

Из этой фотографии, сделанной в одном из подмосковных клубов афганцев, возникает образ военизированного патриотизма. Своеобразие афганского варианта патриотизма, судя по фотографии, состоит в том, что за формой национального «патриотизма» в виде триколора проглядывают также символические черты солдата без национальности (анонимного и вненационального). Образ патриота сливается с образом «универсального» солдата: на лице у ребят «маски» (известные «маски-шоу»), и рождается ассоциация с анонимными боевыми действиями по отношению к условному анонимному «врагу» (Фото 2).



Фото 2



Образы коллективной памяти: результаты эмпирического исследования бывших участников Афганской войны

В соответствии с общей стратегией исследования меморизаторских практик, как деятельности по конструированию памяти в пространстве настоящего, в нашем проекте были проведены глубинные биографические интервью с бывшими афганцами (всего 12 интервью). Основную массу составили участники клуба бывших афганцев «Паншер» (Москва, Юго-Восточный округ)⁵. На основании анализа индивидуальных биографических интервью с людьми, активно включенными в меморизаторскую деятельность, возможно выстроить некоторые общие направления меморизаторской деятельности сообщества бывших афганцев.

Практики меморизации

Каждое мемориальное сообщество можно охарактеризовать исходя из специфики форм его активности. Практики меморизации афганских сообществ (имеется в виду не только один клуб, но и другие схожие сообщества, в том числе интернет-сообщества), которые упоминались в наших интервью, можно разделить на три группы:

Первое, **работа по поминовению памяти погибших, по составлению мемориальных списков всех** не вернувшихся или пропавших без вести. Эта деятельность по увековечиванию памяти о жертвах войны для бывших афганцев имеет особое значение, даже по сравнению с павшими в ВОВ, она широко представлена в разных сообществах бывших афганцев. Ее можно охарактеризовать как персонифицированную память, когда память направлена не только на увековечивание отдельных моментов или событий прошедшего (боев, побед, поражений), а скорее на память о конкретных людях.

«Да, ребят погибших вспоминаем. Вспоминаю парня, с которым квартиру должен был делить. Вспоминаю жену его, я знаю еще, что у них был ребенок. Я вспоминаю Зуреко, соседа моего сверху. Он уже в Чечне погиб (...) вот этих вот людей».

Практика меморизации «жертв» характерна для всех меморизаторских сообществ, но в данном случае ее значимость особо высока на фоне понимания, что «другие» — официальные органы или другие организации — почти не занимаются этим. Чувство коллективного долга формулируется не как официальная «дань памяти павшим», но более локально и интимно как память о своих, о друзьях: **«Помнить своих друзей, и мы всегда делаем это, мы, мы никогда их не забываем»**. Активная работа по составлению памятных списков объясняется еще и тем, что это свойство «живой памяти», когда жертвы войны и те, кто их «помнит», находятся в одном временном поле сверстников, ровесников, друзей. Практики поминовения павших всплывают также в ритуалах посещения кладбищ в памятные даты и в установке надгробных памятников. Поскольку других публичных мест поминовения павших в городском пространстве нет (это относится, прежде всего, к Москве), то вся активность сосредоточена на гражданских кладбищах как местах памяти вне (или на периферии) публичного пространства. Для москвичей это, прежде всего Котляковское кладбище, особенно после взрыва на Котляковском кладбище:

⁵ Глубинное биографическое интервью было полуструктурированным и методически предусматривало несколько фаз: первую нарративную, как общее воспоминание о своем опыте пребывания в Афганистане, включая периоды жизни «до» и «после» афганского опыта, фактически это был монолог излагающий свою версию воспоминаний об Афгане; вторая часть — фаза расспрашивания, уточнения деталей о рассказанном прошлом; третья фаза — это структурированный рассказ о сегодняшнем дне и коммуникативных практиках по сохранению и переработке прошлого: что и как говорят о прошлом, что обсуждают и вспоминают в сообществе, какова значимость такого общения для респондента.

«А так, у нас святое — это Котляковское кладбище, т.е. самое большое место захоронения афганцев, вот, которые погибли в Афганистане, в Москве я имею в виду это, именно, вот, локальное захоронение... Потом же еще взрыв этот на Котляковке, тоже ребят сплотил, в полном смысле того, хотели запугать — получилось наоборот».

На сайтах в Интернете это поминовение жертв войны сопровождается еще и краткими биографическими описаниями погибших воинов, которые иногда в описаниях своих бывших однополчан приобретают идеализированные черты «непонятых героев».

Второе направление практик — это материальная помощь семьям погибших, прежде всего матерям, которое также рассматривается как коллективный долг в отсутствие достойной материальной поддержки со стороны государства:

«всем, кому надо помочь, особенно матерям погибших, их семьям»,

«По случаю, как говорится, если можем, помогаем материально. Что-то делаем. Помогаем в решении их бытовых вопросов, иногда бывает».

Фигура матери как символ «эмоционального траура» представляется здесь особенно значимой — матери являются не только объектом меморизации, но и самостоятельным его носителем, стимулирующим мемориальную деятельность. Коллективный дискурс материальной помощи формулируется в основном вокруг понятия «долг», а деятельность по сохранению памяти формулируется в понятиях морального долга: «долг перед павшими», «мы должны что-то делать для других людей», «мы должны помнить», «это наш долг».

Здесь в интервью всплывал и другой аспект — источники финансовой основы мемориальной деятельности бывших афганцев — проблема материальной помощи, а, следовательно, и источника материальных средств для подобной деятельности. Этот аспект деятельности никогда не получал прямого ответа. Звучали только косвенные упоминания того, что для оказания помощи необходимо откуда-то брать деньги.

С другой стороны известно, что самостоятельная финансовая деятельность афганцев с самого начала экономических реформ была облегчена с точки зрения налоговой системы, вследствие чего иногда использовалась некоторыми бывшими афганцами (или людьми, использовавшими их имидж) в качестве источника личного обогащения. В интервью это обозначается в обобщенном виде как «наша коммерческая деятельность», «наши олигархи», «на финансах у нас специальный человек сидит, он за финансы отвечает».

«Потом за наши же деньги, ну... там, находим какие-то деньги», «Это олигархи содержат...» «Я этого не знаю, на финансах у нас специальный человек сидит, он за это отвечает...».

«Вот часто в санатории своих посылаем. Базу организовали на Азовском море под Туапсе, там наши два раза в год бывают. Это база отдыха ВДВ и наш совет ветеранов организует туда путевки на 28 дней. Для них это бесплатно. Это олигархи содержат».

Цитата из интервью:

«...а потом начали тоже коммерцией пытаться заниматься. Нам надо как-то содержать и аппарат и тоже во всех своих, все афганские организации прописывают во всех своих уставных документах, что это увековечение памяти погибших, это помощь погибшим семьям, адаптация военнослужащих, это помощь инвалидам. А как ты будешь помощь оказывать, если, ну как, мы фактически взяли на себя помощь государства, ну, заботу государства, хотя это не должно было быть изначально. Можно чаю попить, похихикать и разойтись, можно в школу сходить — это будет как работа считаться, но нельзя там оплачивать протезы инвалиду, нельзя мамке погибшего покупать телевизор, потому что она должна этот телевизор от государства получить... Можно помочь и отвезти на кладбище, чтобы она могилу сына, там она не может себе этого позволить,



на дачу отвезти, но не как там ей приплачивать деньги в конвертике раз там в два года. А у всех прописано, что помогают чуть ли не каждый день».

Третье направление, указанное в интервью — это деятельность эпистолярного плана, которая направлена на популяризацию афганской темы в общественном мнении. В частности, деятельность по написанию мемуаров. Некоторые из наших респондентов указывали, что они собираются или уже пишут свои мемуары. Естественно, эта активность не носит массового характера, а скорее представляет собой единичные попытки заявить о себе в сфере публичной культуры в противовес официальному курсу умолчания. Но эта деятельность носит скорее локальный, самодеятельный характер и редко выходит за границы своего сообщества — пишут скорее для своих:

«Более того, мы сейчас пишем некоторые документы, в смысле, некоторые воспоминания. Вот, и с ними можно познакомиться. Мы пишем текст, этот текст набирается, соответственно в компьютерном варианте. Потом это же за наши же деньги...».

Кто-то пишет даже книги, но существует парадокс, что претендуют на публичность чаще те, кто имел меньший опыт собственно боевых действий и, соответственно, имеет менее травматический опыт, а те, кто прошел боевые действия и трагическую гибель товарищей, — рядовые и офицеры — предпочитают отмалчиваться:

«Зачем говорить? Вот у нас с журналистами... [встречи были — ред.] на собрании говорили три месяца назад, что придут. И кто хотел, те уже много раз... [давал — ред.] интервью. А вот мне как-то... Вот вам согласился только. А так кто хотел, и рассказал уже...»

«... Тем не менее... редко мы говорим об этом. Потому что большинство из нас потеряло своих друзей, своих товарищей, которые были вместе, и беречь эти раны никто не хочет, потому что зачем смотреть на плачущего пятидесятилетнего мужика».

Создается впечатление, что в результате коллективный нарратив о пребывании на войне пишется, прежде всего, теми, кто был только частично задействован в собственно военных действиях, а «держателями» и «пропагандистами» военной памяти становятся чаще всего маргинальные участники событий, которые дают искаженную картину военных воспоминаний, а реальные активные участники предпочитают отмалчиваться.

В этом же русле популяризации афганской темы можно указать и другие виды коллективного творчества бывших афганцев. Так, самыми популярными в поле публичного стали песни афганцев, хотя первоначально они были созданы для «внутренних целей», для СВОИХ слушателей. Но, вместе с тем, афганский фольклор стал популярным и вне афганского сообщества, и даже у следующего, более молодого поколения.

Единство времени и места: ритуалы меморизации

Коллективными ритуальными датами в мемориальных сообществах бывших афганцев как моментами активизации и кристаллизации памяти, своеобразными календарными «местами памяти» все респонденты указывали в основном три: день ввода войск, день вывода войск, день ВДВ, и еще локально для Москвы — день взрыва на Котляковском кладбище.

«Двадцать седьмое, например — это день ввода войск в Афганистан, двадцать седьмого декабря как раз день траура, и пятнадцатого — вывод войск из Афганистана, пятнадцатое февраля. И второе августа, день десантуры, ВДВ. Вот эти даты отмечаем».

«Ну, у нас 15 февраля — день вывода, 27 — памятная дата, день ввода, вот, это уже свое, вот. Регулярно мы тут каждый месяц собираемся, какие-то решаются проблемы...».

«Ну, вот такие вот, традиции — это в основном, 2 августа. Это как-то уже у нас повелось и вот это традиция. К нам приезжают и из других городов, не всегда. Но раньше очень часто приезжали».

«Вот, пятнадцатое — это святой день. Ну, а в свое время, мы и с супругой ходили на Серафимовское, где есть памятник воинам в Афганистане, интернационалистам. Конечно, он достаточно такой... Ну, и там есть часовенка, ставим, соответственно, свечи».

«Едем кому-нибудь на дачу. На природу, делаем шашлыки с кем это служили, и вот там, поем песни. Смеемся, где-то и поплачем. Всяко бывает. Но однозначно, в основном, мы это делаем 2 августа. Это наш самый любимый праздник. День воздушно-десантных войск, и естественно, мы как афганцы собираемся. Просто ВДВ с кем служил, они все афганцы получают. И в то же время десантники и афганцы».

«...у нас есть два памятника, один стоит в школе, на улице Мусы Джалиля. Благодаря маме одного из наших афганцев, которая там директор школы. Она взяла на себя ответственность, установила там памятник на территории. И памятник на Котляковском кладбище, где прогремел взрыв 10 ноября, я там стоял... (...) ну не важно. Мы как бы его там поставили афганцем тоже. Потому что Котляковское кладбище одно из самых массовых захоронений в Москве. Вот и мы там бываем всегда в конце декабря, 15 февраля и еще 2 августа — день военно-воздушных войск. Вот эти три даты у нас всегда включаются».

По степени кристаллизации памяти самой «святой» из всех трех дат бывшие афганцы именуют все же день взрыва на Котляковском кладбище, который является с одной стороны, элементом локальной памяти москвичей, и, с другой стороны, имеет отдаленное отношение к самой войне как непосредственному объекту памяти. Здесь проявляются два слоя памяти: один — непосредственно связан с местом — захоронением боевых товарищей. Второй — это ситуация взрыва на кладбище. Само событие взрыва не артикулируется участниками достаточно подробно, и, по-видимому, внутри сообщества нет однозначного к нему отношения, поэтому они и не детализируют его. Но, вместе с тем, у большинства респондентов эта дата упоминается, поскольку субъективно важна участникам сообщества как символ укрепления их единения, утверждения их идентичности перед лицом «другого» (тех, кто организовал взрыв на кладбище), и поэтому считается столь значимым для формирования послевоенной солидарности и идентичности «бывшего афганца» («хотели запугать, а получилось наоборот»). Да и официальные источники не дают прямого ответа: что это было: акт устрашения или внутренняя месть? Но, вместе с тем, скрытый смысл его упоминания и значимости заключается в реакции бывших афганцев как сообщества, и во включении его в качестве «самого святого» в сложное конструирование их послевоенной коллективной идентичности.

Другим важным моментом для понимания идентичности бывших афганцев является празднование еще одной даты, не имеющей прямого отношения к Афганским событиям — празднование дня ВДВ — *это наш любимый праздник*. Далеко не все из них имели отношение к ВДВ во время афганских событий, но, по-видимому, это является попыткой расширения границ своей идентичности. Присвоение идентичности десантника (все афганцы получают тогда и афганцы, и десантники) означает, скорее всего, попытку легитимации своего статуса афганца в глазах более широкого общества и приобретение более позитивного имиджа в глазах общественного мнения: десантники — голубые береты из всех видов войск всегда пользовались у широкой публики советского времени наибольшим уважением. Поскольку статус бывшего афганца более маргинален, они и пытаются «присвоить» себе эту нишу и приобрести более позитивный имидж. Это связано еще с аспектами маскулинности. Десантники — элитные войска, у них другая форма одежды, особое командование, они «круче всех». Поэтому «делать из себя десантника» — значит, присваивать себе дополнительные баллы по шкале военной маскулинности.



Особо стоит отметить, что все ритуалы бывших афганцев носят достаточно организованно-оформленный и несколько формальный характер. Подобные «мероприятия» как бы «спускают сверху» по иерархии власти сообщества. С одной стороны, это результат того, что общество имеет военизированную структуру, поскольку в нем много бывших военных. Об этом свидетельствуют такие высказывания как «организовываемся и идем на кладбище, нас возят», «есть специальный Союз афганцев, я как организатор — нет», «митинги», «этот праздник организовался позже». С другой стороны, свидетельствует о том, что формализованная коллективная память является недостаточно интеризованной участниками мемориальных сообществ, некоторые участвуют в таких видах деятельности скорее повинаясь чувству коллективного долга, чем собственным желаниям.

Наряду с формально-организованными упоминаются и неформальные встречи бывших однополчан:

«... ребята из Тюмени создали наш сайт, нашей части, вот. А, ну, и там, есть такое понятие, ищу однополчан, ну, в смысле, разыскиваю, ищу однополчан, а я там нашел фамилию знакомую, дай, думаю, и, понимаешь, контакт там стоит, это самое, мобильный телефон. Дай, думаю, позвоню, он или не он. Звоню — парень, с которым мы расстались на Казанском вокзале, блин. Вот. Собрались встретиться, там что-то у нас не срослось, ну, там приболел, ну, собираемся вроде, там, вот на днях встретиться с ним. Вот, считайте сколько, 30 лет почти не виделись, вот».

Такие формы коммуникации, неформальные посиделки где-нибудь на кухне с приятелем являются более традиционными формами меморизаторской активности в российской культуре. Скорее всего, в данном случае это способ выйти на более неформальный нарратив о войне в более узком и интимном кругу «своих», по принципу «бывших однополчан», «бывших одноклассников» и т. д.

Таким образом, моменты активации и кристаллизации коллективной памяти имеют временно-ограниченный характер, затухая и разгораясь в определенных точках, значимых с позиции мемориального сообщества. Некоторые «точки» имеют непосредственное отношение к событию прошлого, другие приобретают символическую значимость, вплетаясь в последующие события, в историю «после», конструируя, таким образом, некоторый континуум на протяженности «прошлое-настоящее». При этом многое зависит от форм коллективного межличностного взаимодействия на этом временном отрезке «прошлое-настоящее».

Атрибутика материальной памяти

В атрибутике материальной памяти важное место занимают элементы телесной связи со своим военным прошлым: медали, часы, тельняшки — то, что можно надеть на себя и пронести через разные моменты жизненных ситуаций, начиная от того далекого военного времени до сегодняшнего. Это можно продемонстрировать и на публике в качестве отличительного знака общего боевого прошлого.

«Мы встречаемся, конечно, на внешнюю публику это производит какое-то неприятное ощущение, когда два здоровых, седых мужика «лобызаются». Голубые, что ли? Да нет, не голубые, мы просто голубой просвет на тельняшке носим, а это — традиция. Традиция была следующей: на все боевые, на колонны, на выполнение задач, мы носили тельняшки. После окончания войн, тельняшка снималась после всего этого, стиралась и укладывалась. У меня три такие тельняшки».

Медали афганцев можно разделить на две категории: собственно боевые награды за действия во время афганской кампании и памятные медали, т.е. полученные по случаю юбилейных дат в послевоенный период. Первый тип наград обговаривается быв-

шими афганцами как форма адекватной оценки их боевых заслуг в контексте «представили к награде», «представили, но не получил, хотя другие получили», «долго выяснял, почему представили к награде, но не получил» и т.д., т.е. в контексте адекватности-неадекватности оценки индивидуальных заслуг.

Второй тип наград понимается как степень оценки теперешней активности в работе общества бывших афганцев. Иногда это люди, не принимавшие участия в собственно боевых действиях в силу своей профессиональной принадлежности к «штатским» профессиям (инженеры, врачи, обслуживающий персонал), но они идентифицируют себя с «боевым братством», в силу чего эти награды оцениваются как значимые для идентификации в пределах братского сообщества. В то же время этот тип наград интерпретируется «истинными» афганцами в негативных понятиях «примазавшиеся», покупающие себя ордена.

«Когда человек как бы берет на себя слово «афганец»... Потом, под нас еще много поддельвались. Ну, то есть люди, не знавшие Афганистана... То есть и начинают там рассказывать истории, что написали заявление, а их не взяли, выполняли какую-то работу... А потом волей-неволей смотришь на них, и видишь, что на них такие же ордена и медали, как на нас, таких тоже масса была. И люди начинают втираться в доверие, получают информацию об Афганистане, сами читают ее — и через несколько лет ты его не отличишь...»

Другая часть материальной памяти — это фотографии, которые остались в личных архивах бывших афганцев. По нашим интервью их оказалось довольно мало, интервьюируемые отмечали, что у них «мало что осталось». В ходе интервью выяснилось, что большую часть фотографий военного времени у них отобрали при пересечении границы.

«То есть, даже половину фотографий отобрали, там, где вот нарушение формы одежды, «это не форма одежды, форма одежды советской армии, это оружие, типа, с чужим оружием, с американским», типа. Все это взяли».

«Мы, когда уезжали оттуда, там таможня была, все, что хотел увезти, отобрали».

Это «урезание» или контролирование памяти со стороны властей можно прокомментировать как попытку скорректировать, проконтролировать формат грядущей памяти со стороны государства. Цензурирование памяти со стороны государства было вызвано как сиюминутными политическими мотивами (война все же была «тихой войной», не требующей огласки), так и более основательной политикой конструирования официального исторического дискурса на долговременную перспективу: никаких отступающих от канона, дополнительных трактовок, никаких непосредственных свидетельских показаний, никаких документальных свидетельств, выходящих за рамки официальной «легенды». Отбирали все то, что не соответствовало идеологическому образу воина-интернационалиста, «чистыми руками» выполнявшего свой воинский долг перед Родиной. Может быть, это было одной из причин, почему реальные воспоминания самих афганцев не стали достоянием гласности в последующие десятилетия.

В этом контексте «отцензурированной», «отобранной» памяти значимым выглядит другой атрибут телесной памяти, свойственный для военизированных маскулинных сообществ — шрамы и наколки. Шрамы и наколки стали скрытым видом телесной памяти, который существует только в виде интимной памяти собственного тела и не направлен на широкое зрительское участие/сопереживание. Но все же и он воспринимается как вид военной памяти:

«Все отобрали... Только татуировка от всего этого и осталась...»

Это служит напоминанием о прошлых страданиях тела, хотя в основном в контексте того, «что нельзя отобрать» или проконтролировать или отцензурировать путем властного контроля.



Субъекты практик меморизации

Обычно вектор субъектов практики меморизации строится по прямой вертикали общество-групповые формы-индивид. В нашем случае более значимой представляется противоположная вертикаль, снизу вверх: индивиды-коллектив-общество, хотя как раз на уровне общество мемориальный континуум в данном случае и прерывается. Выход в пространство публичного затруднен, он ограничивается в основном межличностным общением и закреплен в высказываниях формулировками: «не хотят слушать», «не могут понять», «захотят ли услышать» не только по отношению к не-военным, к «гражданским лицам», но в целом по отношению ко всем, «кто не был на войне», включая собственных детей. Информанты формулируют это более точно: «может, и хотел бы рассказать, но захотят ли услышать».

«Ну, а с гражданскими никогда эту тему не поднимаешь. Вообще. И никто не знает. Ну, вот я домой приезжаю, знают там одноклассники, ребята, друзья. Ну, никогда я... Даже не хотелось заговаривать на эту тему».

«Вот, ну, может желание есть, но, я не знаю, поймут ли меня, а вернее, захотят ли услышать, вот. Понять-то, может быть, и поймут кому нужно, а так, захотят ли услышать, вот. У меня же был момент, когда я вернулся уже оттуда, мы просто с отцом раз шли и, что-то мы с ним разговорились, вот. И он мне задал вопрос ... Вы, что, там, — говорит, — правда воевали? (...) Вот, и тут он просто меня убил наповал, можно сказать, это родной отец, до него дошло, что там действительно война была полномасштабная».

«Ко мне дочка пришла, в школе, когда училась, сейчас уже на 3 курсе академии МВД учится. И говорит: пап, расскажи, что такое Афганская война? Проиграли? Победили? В учебнике истории написано 4 строчки. В 79 году ввели войска, в 89 году вывели. Все».

«На самом деле особого желания я не испытываю, потому что очень часто просто стену непонимания вижу. Ну что? Кто вас туда отправлял? Такие фразы...»

Во всей этой многоголосице выстраивается одна горизонталь взаимодействия (или отсутствие взаимодействия) «мы — как коммуникативное сообщество, которое обсуждает, вспоминает внутри СВОИХ и те, кто вовне этого взаимодействия — те, кто не хочет и не может ПОНЯТЬ того опыта, через который прошли в Афгане, не только все не-военные — (гражданские), не только случайно встреченные люди, но даже близкие, родные люди, родственники». Здесь очень показательна ситуация с отцом одного бывшего афганца. В свое время этот отец, тоже бывший военный, приезжал в Афганистан к своему сыну погостить и даже прожил там несколько дней в гостинице, т.е. фактически присутствовал там в качестве пассивного свидетеля. Сын был уверен, что уж после такого опыта отец ПОЙМЕТ его, и, только случайно разговорившись, сын вдруг осознает, что и родной отец, побывавший в Афганистане в качестве гостя, совсем не может ПОНЯТЬ его и ту войну, через которую они прошли («а что, вы там действительно сражались по настоящему? это что же, война была?»). Т.е. дискурс участников войны остался не только абсолютно непроговоренным, но и полностью непонятым обществом. В случае с отцом, по-видимому, сказалось влияние официального дискурса (военный) и СМИ, как они подавали образ войны. И этот дискурс оказался более авторитетным для отца, чем рассказы сына и собственное пребывание в качестве гостя.

То есть «диалог» общества с бывшими афганцами, который так и не начался несколько десятилетий назад, так и не состоялся в дальнейшем, афганский опыт участников войны остался закрытым для большинства мирного населения. Именно отсутствие диалога и заставляет афганцев капсулироваться в рамках своего локального пространства.

Пространство мира «своих» и идентичность

Моменты конструирования идентичности начинаются с поименования своего места памяти (Франсуа Арто). Обычно это отражается в наименовании места как зна-

кового, важного для формирования общей платформы коллективной солидарности (в нашем случае большинство интервью проведено с участниками клуба «Паншер»). Известно, что Паншерское ущелье стало местом самых жестоких боев в годы Афганской войны, где советские соединения столкнулись с мощным сопротивлением «духов» в ходе боев в 1982 году. И, следовательно, клуб стал символом памяти о сражениях и потерях в этом самом трагичном бою времен военной операции в Афганистане. Как говорит руководитель клуба,

«это организация одна из самых старых в стране. Не в Москве, а в стране».
(Образована в 1986 г. еще до вывода войск).

«У нас сильная очень организация «Паншер»,

«наша организация — «Паншер», она единственная в Москве имеет такой приличный вид».

«...это единственная действенная организация. (...) Мы регулярно, каждый месяц проводим собрания. У нас совет заседает ежемесячно».

Такие высказывания фиксируют, что организаций бывших афганцев много, но многие «другие» организации подозреваются в «неистинности», но сами наши опрошенные предпочитают локальные территориальные организации типа «Паншера». «Другие», не всегда действенны, влиятельны, «приличные», т.е. не все могут достойно представлять интересы афганского братства, в отличие от их собственной организации.

Второе возможное направление рассмотрения идентичности — это как группа характеризует тип взаимоотношений в группе «своих», какие формы взаимоотношений подчеркиваются — солидарность или конфликт; кого относят к «мы», «свои» и «не мы», «другие» — те, на кого направлено чувство вражды, несогласия.

О конфликтах

«Единственная почва, на которой возникает (конфликт — ред.) — это, например, российский союз ветеранов и «Боевое братство». «Боевое братство» почему-то претендует на лидирующую роль без всяких сомнений. А «Боевое братство» — это Громов. Вот почему-то безусловное, необходимое лидерство Громова <...> Вот оно как-то безбалансность определенную вносит и разнит ряды афганцев. Но я не хотел бы об этом говорить сейчас...»

В интервью упоминается, что внутренний конфликт с сообществом «Боевого братства» возник на почве «демократичности» памяти о прошлом. Т.е. представители этого сообщества выступают против попыток «Боевого братства» выстроить отношения бывших афганцев по вертикали, разделяя их на «более заслуженных» и «менее заслуженных», пытаясь установить некую иерархию власти внутри сообщества по принципу причастности к военным действиям. Другими словами, «Боевое братство» ориентировано на военизированный характер меморизации: принимают в свои ряды только участников боевых действий, а не гражданских лиц, участвовавших в войне. Их практики меморизации носят несколько иной характер: в центре, прежде всего, по мнению наших респондентов, память о военных действиях, сражениях, событиях войны — своеобразная историография войны. Их («паншерцев») собственная идентичность формируется вокруг памяти всех бывших на территории Афганистана, и гражданских, и военных, а также вокруг памяти о погибших, о жертвах, а не вокруг памяти о сражениях. «Боевое братство» критикуется ими за использование политического капитала (фигура Громова), т.е. критикуется использование коллективной памяти как ресурса в политических целях.

Второе направление внутреннего конфликта в сообществе связано с проблемой коммерциализации памяти. Моменты критики «своих» направлены против тех бывших афганцев, которые разменяли свою память на корыстные, финансовые интересы:



«Нельзя память и наши действия разменивать на деньги. Это слишком дорогое удовольствие, я считаю, для нормального человека. Для идиота, который хочет заработать, да, пожалуйста».

«Большинство ушли в коммерцию, просто вот накрыло волна коммерческая... Ну, срубил вот большие деньги, за границу уехал... Кто-то свое дело открыл, кто-то вот на том свете... Но есть как бы и доступные средства зарабатывать, а есть и недоступные, то есть это надо через кровь пройти, надо кого-то убить, захватить... Сейчас это рейдерством называется, раньше называлось по-другому совсем. И вот это, афганцы тоже через это проходят, потому что они же в обществе находятся».

Таким образом, внутренние конфликты сообщества, которые позволяют приоткрыть смысл их коллективной идентификации, направлены против использования памяти в качестве ресурса для достижения иных, не моральных (или внеморальных) целей: в качестве политического или же в качестве финансового ресурса. И, следовательно, их идентичность как меморизаторского сообщества формируется вокруг центрального фокуса: верность военному братству тех, кто честно исполнил свой долг перед Отечеством. Хотя надо отметить, что, по-видимому, эти ценности транслируются, прежде всего, теми, кто оказался «лузером» в ситуации мирной, вне-военной последующей жизни.

О внешних конфликтах, связанных с непониманием опыта Афганской войны теми, кто не прошел этот опыт — т.е. с большинством населения уже говорилось. Бывшие афганцы оказались замкнутым анклавом, который существует изолированно и оторвано от общества со своими страхами, представлениями о порядочности и долге перед Родиной, который они сохранили со времен войны.

О солидарности

Третий аспект рассмотрения идентичности — какой нарратив формируется вокруг «мы» относительно понятий успешности, праведности, солидарности, согласия и дифференциации. Афганцы недаром именуют себя «братством» как неким закрытым ордемом, обладающим своими моральными принципами и внутренней солидарностью.

«...В трудную минуту когда-то могут поддержать. То есть как братья. Все люди разные и хорошие и плохие, общение самое главное. В каком-то смысле что материально помогают. Такая, как семья...»

«...А так, встречаемся, потому что у нас есть чувство братства, чувство долга, и в случае серьезных каких-то осложнений, мы всегда приходим друг к другу на помощь. Более того, делается это абсолютно бескорыстно: никаких корыстных целей, никаких корыстных целей, никто ничего не ждет такого».

«...Это братство остается. Оно помогает нам жить. Видим своих друзей. Нам печально, что они сейчас все больше и больше уходят, потому что со здоровьем у всех хреново. У Саши удалили почку, у Димки полностью... Ну, со мной-то ладно, я еще отделался легким испугом, постановкой железа в сердце, а они по-крупному залетели. У Пети сердце никуда. Нас вытесняют более активные и более предприимчивые мальчишки. А что получит страна? Не знаю. Может быть, это и не нужно. Вот и все».

В их представлениях о коллективном «мы» наиболее ярко отражена их теперешняя идентификация, даже безотносительно к прямому соотношению с опытом прошлого. Это моральная ориентация с сильным акцентом на чувстве долга, моральной помощи и единении на основе «родственных» отношений. Такие родственные отношения формулируются не просто как «дружеские», которые обычно выбираются в течение жизни в результате индивидуального отбора «своих» и «чужих», а как генетически определенные, заданные природным родством (как семья, как братья, среди которых есть и хорошие, и плохие, как братство). В данном случае это происходит благодаря «припи-

санности» их жизненного опыта к одному и тому же событию из национальной истории и к прошлому.

О травме прошлого

Наедине со своей памятью: психология процесса «вспоминания» о трагическом

«Как-то и не хочется... Включать эту память... Вот только когда со своими встречаешься...».

«Не хочется вообще трогать эту тему. Абсолютно. Оно как сокровенное что-то, святое такое».

«Вспоминания, фактически, вот, ты пришла, Ирочка, мы тему подняли, а так я бы и не вспоминал никогда... Ну, кто-то из друзей афганцев заскочит, по рюмке выпьем, что-то вспомним. Ну и то. Так, про жизнь говорим. Нет такого, чтобы мы циклились на этом, вот, вот, это вспоминали постоянно».

«С кем? С ребятами, которые прошли все это, которые знают, что это такое, вот. (...) С женой, со своими детьми, вот, т.е. они меня сейчас прекрасно понимают, если раньше может и было какое-то недопонимание, то, сейчас они нормально понимают, вот. У меня, что старшая, что младшая — выросли на афганских песнях, ну, не на афганских а, то, что про Афган, вот. Все...».

«Естественно, что все разговоры, все воспоминания только между, ну, своими, потому, что любое слово, какое-то, да, будет понятно только ему, допустим. Понимаешь, тот, кто там был рядом. Кто незнающий, он не поймет, о чем там мы. Ну, какие-то даже места, мы-то ведь знаем. Так, что разговоры только с сослуживцами на эту тему».

Из этих высказываний можно составить общую, хотя и пеструю, картину того, как происходит процесс «вспоминания». Во-первых, ясно, что «вспоминание» обычно носит коллективный характер, т.е. активизируется в обществе «своих», имеющих общие точки «соприкосновения» памяти, среди тех, кто знает общую топографию тех событий, и кто настроен позитивно, и от которых «нечего скрывать»: они не навешают каких-то ярлыков (убийцы, негодяи) на рассказанное. Во-вторых, процесс воспоминаний не носит постоянного характера, он происходит только в редких ситуациях особой стимуляции памяти, а в обычных ситуациях эту тему не хочется трогать вовсе, воспоминания существуют как общий непроговоренный фон совместного времяпровождения. (Один из наших респондентов заметил, что он даже стер записи афганских песен и записал на их месте новые, чтобы таким образом попытаться стереть этот слой памяти). В-третьих, этот пласт находится на глубине сознания, как то, что не вызывает чувства удовлетворения или гордости за свое (может быть вынужденное, подневольное) участие в этом неоднозначно оцениваемом (обществом) опыте, и его не хочется беречь и вызывать к жизни без нужды, но и забыть, вычеркнуть тоже невозможно.

Позитивные и негативные моменты памяти; психология понижения уровня переживаний

«...вспоминаем, но ситуации смешные, ведь в бою бывает столько смешных ситуаций, вроде бы тяжело, а выскочил там, живые остались, а потом кто-то чего-то там... Ну, я не хочу приводить примеры... Некоторые просто... такие... казусные. Просто то, что приятно вспоминать, мы вспоминаем».

«Вспоминать, стараюсь что-то смешное, веселое, потому, что как-то дети спрашивают свои же. В школах когда что-то рассказываешь, ну, стараешься вспоминать что-нибудь (...) такое, более нейтральное (...) вот, что у нас еще. (...)»

«Да, вот всякие такие вот курьезные случаи, смешные. (...) Потому, что это — трагедия это, все это трагично, ну, на кой нам нужно вспоминать его? Вот (с грустью). Оно



наверное, как-то, память блокирует, в свое время, в смысле своевременно, вот, ну, а так, всякие хохмы».

«...может, это было не так смешно тогда, когда это происходило с тобой, но рассказываем мы это очень смешно».

«А то, что было когда-то там трудно — никто не считает, что было трудно, Это были для всех лучшие годы... И все эти трудности, это было нормально, а вспоминается все самое хорошее. Веселое, бесшабашное, такое какое-то там, раздолбайство! (Смех) Вот это все вспоминается, о боевых действиях — нет. Фактически нет...»

В механизме совместных воспоминаний о трагическом происходит переключение с воспоминаний о наиболее тяжелом из пережитого на более позитивные, веселые, смешные эпизоды для реабилитации общего уровня травмированности. Это механизм отстранения, снижения уровня кризисных переживаний и, через катарсис, к нормализации / преодолению травматического опыта. Респонденты сами сопоставляют этот тип военных воспоминаний с типом воспоминаний о службе в армии. Маскулинный характер таких воспоминаний заставляет скрывать свои тяжелые переживания и камуфлировать их за занавесом «успешности», «легкости», переводить в жанр армейских анекдотов об авантюрах и приключениях времени молодости и существования вне обыденности и повседневного быта.

Память как внутренний монолог

Кроме воспоминаний в группе «своих» есть еще и память в форме внутреннего монолога, т.е. память, которая не проговаривается даже со своими. Только «потревоженная» интервьюером, у которого есть позитивный настрой на «слушание», этот аспект памяти проявляет себя.

«Хотя в башке все осталось, до того, что тут (неразборчиво), я хоть сейчас могу лист бумаги разрисовать, все! Настолько в памяти цепко, каждую улочку, каждый переулок, каждую огневую точку, душманскую, где мы были, все так у меня настолько все в памяти сидит... И у всех так. То есть когда с ребятами, когда действительно тяжелые бои были... Все! Оно как навеки сфотографировано... Ну в общем-то, вспоминать этого не хочется».

«Я сейчас уже почти, не так часто вспоминаю, одно время мне часто вспоминалось, когда у нас осталось 5 патронов на 4-х, (.....) (с усмешкой) если бы не разведка, мы бы здесь с Вами не сидели. (смеясь) Вот, это и во сне снилось постоянно, (...) вот. (.....)»

«Ну, а так, вот само даже вот, бывает иногда накатывает вот такое состояние, такое настроение паршивенькое, начинаешь, там, что-нибудь себе напевать, вот, из этого, из афганского, так сказать репертуара, вот. Ну, стараешься вспоминать что-то такое шептунное, веселое, (...) вот.

«Вы честно говорю — первая... что я так откровенничаю... не знаю почему... решил... не знаю».

«...Ну и многие такие ребята, и подрывались... кто-то видел смерть... Это война... это война. От этого никуда не уйдешь. То есть... она же будет постоянно преследовать. Об этом никто не говорит, и об этом никто не хочет говорить, потому что с одной стороны, нельзя, и никто не признается... »

«Когда встречаемся, никогда не говорим про Афгани. Никогда. Это слишком, будем говорить, лично. Это слишком лично. Мы никогда не вспоминаем Афганистан. Но над нами всегда при встрече витает это все».

Эта внутренняя, самая интимная сторона памяти, наверно, является носителем самого трагичного в прошлом опыте каждого. Это то, что сфотографировалось, что снится, что преследует человека, но о чем никто не говорит вслух, особенно в мужских сообществах, где не принято демонстрировать слабости. Но, тем не менее, наверно, эта часть памяти является предметом сугубо личных переживаний каждого бывшего участника войны. Это

то, что сохраняется на уровне подсознания и постоянно преследует индивида, доводя некоторых до критического состояния. Данный сегмент памяти явно не проявляет себя в коллективной памяти сообщества, но как верно заметил один из респондентов — она только витает над нами, непроговоренная вслух.

Заключение

На примере афганских сообществ можно отметить некоторые общие черты, свойственные социальной памяти на уровне группового, коллективного. Так, можно отметить, что многие респонденты, в ситуации биографического интервью говоря о своей индивидуальной судьбе, неоднократно обращались к понятию «мы», встраивая, таким образом, свои воспоминания в контекст коллективной памяти. При этом респонденты выделяют моменты и места, когда такие воспоминания актуализируются в процессе коммуникативного взаимодействия со «своими». Естественно, это «общее» в памяти поддерживается теперешними формами активности сообщества (деятельностью по поминовению павших, поддержкой матерей, посещением памятных мест и кладбищ).

Весьма существенным является то, что сама память как то общее, что объединяет сообщество, при этом может присутствовать (и часто присутствует) в качестве некоего фона. Об этом, особенно о травматическом опыте, в процессе коммуникаций респонденты почти не разговаривают, но «это витает в воздухе» и создает незримый фон понимания «другого» и солидарности с ним как с родственником, с которым не надо постоянно обсуждать тему своего родства. Основу такого меморизаторского сообщества, скорее, составляет не само прошлое событие, но эмоциональнопсихологические переживания (и сопереживания) по этому поводу, которые проявляются как чувство долга, ответственности по отношению к этому опыту.

Несмотря на существование меморизаторских сообществ, память бывших афганцев — это вариант социально-непроговоренной, замкнутой на себя памяти. Она проговаривается и конструируется внутри сообщества, явно или неявно присутствует в их коммуникативных практиках, но не проговоренная вовне остается закапсулированной социальной травмой (в понятиях С. Ушакина), непреодоленной ни для участников, ни для общества в целом.

Фактической основой любого меморизаторского сообщества, по словам одного американского исследователя, является определенное чувство долга, ответственности перед прошлым (Alan Confino, 2009). Именно по этому водоразделу в сообществе афганцев проходит конфликт между теми, кого считают «истинными» блюстителями памяти и теми, кто использует память в качестве политического или коммерческого ресурса. Тогда возникает закономерный вопрос: является ли такая ангажированная память, при которой происходит полное «забвение источника» (Х. Вельцер) собственно памятью или же ее надо отнести к мифологии, где соотнесенность с событиями прошлого полностью теряется и заменяется мифотворчеством. Это обстоятельство лишним раз напоминает о границах употребимости концепта «коллективная память».

Важным атрибутом локально-групповой памяти является форма взаимодействия с публичным дискурсом и степень включенности (или: невключенности, противоречивости) ее содержания в официальный дискурс. Локальные войны как войны, несущие в себе идеологический заряд критики прошлой политики государства часто могут быть объектом исключения, забвения, умолчания со стороны официального дискурса, что приводит к капсулированию памяти и вытеснению ее в сферу маргинального. Официальный дискурс воспринимает такие сообщества как ненужных свидетелей, которых надо или изолировать или подкупить. Эффект контроля над памятью со стороны государства, в случае с афганцами (отобрали фотографии, отобрали память) демонстрирует себя достаточно явно.

Несмотря на внутреннюю неоднородность, меморизаторский опыт бывших афганцев является хорошо структурированным, с набором практик и даже специфических



«мест» («сгустков») своей памяти, которые хотя и находятся на периферии социального пространства, являются маргинальными, но успешно конструируют внутренний порядок и общий набор элементов такой памяти, включая материальную атрибутику.

Наряду с памятью о самих событиях, явившихся основой этой группы, формируется также современная, сегодняшняя активность по закреплению памяти и даже попытки ее расширения, захвата «соседних» смысловых территорий (участники других войн, войска ВДВ). Эта принадлежность к сегодняшней активности, наряду с принадлежностью к одному прошлому и составляет основу их идентичности. В своей памяти они обращаются не только к прошлой войне, но и к послевоенным событиям (например, взрыв на Котляковском кладбище) и к сегодняшним проблемам и внутренним конфликтам.

Но все же их идентичность связана с взаимодействием с публичным дискурсом: насколько легитимным или нелегитимным; оправданным или неоправданным; полезным или бесполезным признается их Афганский опыт в общественном мнении. Это водораздел, например, их взаимоотношений с ветеранами ВОВ. Но при этом они не формируют какой-то собственный, устойчивый дискурс об Афганской войне. Возможно, в этом сказывается патерналистское ожидание, что государство запоздало возьмет на себя эту роль.

Литература

- Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности, М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Артог Ф. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. 2004. № 5.
- Борозняк А. ФРГ: волны исторической памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. Москва: Языки славянских культур, 2007.
- Вильцгер Х. История, память и современность прошлого: память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской России // Россия реформирующаяся. Ежегодник — 2004 / Отв. ред. Л.М.Дробизижева. М.: Институт социологии РАН, 2004.
- Гудков Л. Победа в войне: к социологии одного национального символа (1997) Память о войне 60 лет спустя // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41).
- Данилова Н. Мемориальная версия Афганской войны (1979-1989 годы) // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41).
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.
- Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011401>
- Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 5 (40–41). [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011401>
- Нора П. Поколение как место памяти // Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30).
- Нора П. Поколение как место памяти // Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30).
- Нора. П. «Между памятью и историей — о проблеме местоположения» // Времена. 1993. № 45.
- Рибо Т. Общие амнезии (потери памяти) // Психология памяти. М.: ЧеРо, 2000. С. 33–61
- Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004.
- Руткевич А.М. Психоанализ, история, травмированная память // Феномен прошлого. Отв.ред. Савельева И.М., Полетаев А.В. / Москва: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005. С. 221–250.
- Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу границах понятия // Феномен прошлого. Отв.ред. Савельева И.М., Полетаев А.В. / Москва: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005.
- Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М: РОССПЭН, 1999.
- Ушакин С. Травма: пункты. М., Новое литературное обозрение, 2009.
- Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. Серия WP6. Гуманитарные исследования ИГИТИ, 2004.

- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Adam B. (1994) *Time and Social Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Caruth C. (1996) *Unclaimed Experience: Trauma, Narratives and History*. Baltimor: Johns Hopkins University.
- Halbwachs M. *Les cadres sociaux de la memoire (1925)*. Paris, 1952. См.: Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Jedlowski P. (1996) *Memory and Sociology: Themes and Issues*. *Time and Society*, 10 (1), pp. 29–44.
- LaCarpa D. (2004.) *Trauma Studies: Its Critics and Vicissitudes* // LaCapra D. *History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory*. Ithaca: Cornell University Press.
- Margalit A. (2002), *The Ethics of Memory*, N.Y: Harvard University Press.
- Moscovici S. (1987) *Answers and Questions* // *Journal for te Theory of Social Behaviour*, 7 (4).
- Nora P. (1989) *Between Memory and History: Les Lieux de Memoire* // *Representations*, 26
- Nora P. (1974) *Le retour de l'evenement* // *Faire l'histoire*, 1. *Nouveaux problemes / Sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora*. Paris: Gallimard.
- Oakeshott M. (1983) *On History and Other Essays*. Oxford: Blackwell.

Коллективная память в национальных контекстах: Россия — Польша

17 января 1945 в Варшаве: представление событий в польских школьных учебниках по истории

Илона Голембевска*

«История — свидетель времени, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, предвестник будущего»
(Цицерон)

Аннотация

Целью данной статьи является попытка показать, как события 17 января 1945 в Варшаве, в истории Польши известные как «Освобождение Варшавы», «Помощь Варшаве», «Оккупация Варшавы советскими войсками», были отображены в школьных учебниках в период 1945-2009 годов. Наша задача состоит в анализе содержания учебников для преподавания истории на разных этапах обучения. Постараемся определить влияние политических идеологий, существующих в определенный временной период, на качество и форму представления событий 17 января 1945 в школьных учебниках.

Существует мнение, что среди многих школьных предметов история имеет самое большое влияние на воспитание учащихся. Задачей преподавания истории в школе всегда было формирование взглядов молодых людей согласно образцу, принятому в данный период времени. Цель заключалась в воспитании учеников в духе эпохи, в которой они живут. Эти действия сопровождалось конкретными критериями подбора исторического материала и его интерпретации. Этот выбор зависел от многих факторов, таких, как социальное положение, масштаб социальных проблем и конфликтов, стратегии политической власти, а также сила воздействия идеологии, доминирующей в данное время. Авторы учебников по истории в разной степени старались сочетать давление внешних факторов со стандартами работы историка, для представления «исторической правды». Е. Карр определял трудные задачи историков в создании школьных учебников в области «близкой истории» следующим образом. «У историка современности двойная задача: обнаружить те немногие факты, имеющие основное значение, и превратить их в исторические факты, а также отобрать многие факты, не имеющие значения и придать им статус неисторических» (Карр, 1999). Зато польский исследователь школьных учебников подчеркивал другие функции истории, когда он писал: «История (в том числе история в школе) является наиболее опасным продуктом, который создал человеческий разум <...> она создает мечты и опьяняет народы, она исцеляет раны... История оправдывает все, что ей нравится... Она не учит ничего определенного, потому что она содержит все и дает примеры всему. Зато школьная история такова, как ее делает инструкция (программа), утвержден-

* Илона Голембевска, гуманитарный факультет, Кафедра социологии, Варшавский сельскохозяйственный университет.

ная министром образования» (Роникер, 2002). Этот подход предполагает, что учебники по истории не только передают знания о событиях прошлого, но и формируют восприятие жизни, их содержание становится частью нашего обзора мира. Именно здесь проявляется уникальная роль истории среди других предметов, преподаваемых в школе.

Наш анализ касается учебников, используемых для преподавания после Второй мировой войны и, в том числе, событий, которые произошли 17 января 1945 года в Варшаве. Стоит отметить, что в первый период после Второй мировой войны, в 1945–1950 годах, история преподавалась на основе учебников, выпущенных до войны. Эти учебники были составлены в соответствии с принятой Сеймом 11 марта 1932 г. школьной реформой, подготовленной Янушем Енджеевичем. Эта реформа предусматривала создание инструкций для учебных программ по истории и соответствующих им учебников. Главной целью учебных программ и учебников являлось государственное воспитание, что устанавливало их важную роль именно в программе обучения истории. Основная цель реформы заключалась в образовании граждан, сознающих свои обязанности по отношению к Родине. В соответствии с реформированной программой обучения истории был значительно сокращен обязательный материал: это ограничило его объем в государственных школах до рамок отечественной истории. Знание истории должно было воспитать у молодых людей любовь к Родине, а самое главное — привязанность к стране, что согласно намерениям авторов должно было, в свою очередь, подготовить их к выполнению гражданских обязанностей. Таким образом, эти предположения содержали явно учебные цели, о которых упоминалось ранее. Преподавание истории было устремлено не только на получение знаний о последних событиях, но и на формирование сознания будущих граждан. Эти рассуждения приводят к выводу, что необходимо заняться анализом школьных учебников по истории в социологической перспективе, поскольку они играют важную роль в создании социальных структур памяти, действуя как важный компонент (или элемент) культурной памяти.

В школьных учебниках, используемых в польских школах в период 1945–2007 годов мы пытались найти изображения весьма конкретного события, каким являлся вход польских и советских войск в Варшаву 17 января 1945 года. Наша задача — показать, каким способом были представлены в школьных учебниках, если были представлены вообще, в течение 60 с лишним лет; как они были изображены в контексте событий на местном, региональном и международном уровнях. В ходе анализа важно было также попытаться оценить влияние политических идеологий, существующих в данный период, на историческое представление о событиях 17 января 1945 г. Наш интерес заключался в изучении динамики представления образов прошлого этого периода.

Несмотря на динамичное развитие различных методов и технологий обучения, учебники по истории являются основным инструментом, используемым в школах для исторического образования. В современном мире каждый человек имеет возможность использовать различные источники знаний, но в конечном итоге оказывается, что школа и школьный учебник по-прежнему являются важной точкой соотнесения и сравнения знаний, полученных посредством СМИ или из других источников информации. Хорошим примером могут быть количественные исследования Петра Квятковского о Второй мировой войне в памяти польского общества, проведенные компанией по изучению общественного мнения Пентор в 2009 г. Хотя большинство (почти 2/3) респондентов ищет информацию на эту тему СМИ и кинофильмах, каждый четвертый поляк обращается к школьным учебникам. Не следует также забывать о политическом значении диалога об обучении истории и широко распространенном мнении о необходимости преподавания истории.

События 17 января 1945 г. были выбраны по нескольким причинам, в том числе:

1. Они принадлежат к заключительному этапу Второй мировой войны, когда Советская Армия и Польские Войска предприняли совместные военные действия в рамках зимнего наступления с целью «Освобождения Польши».



2. Это символическое событие в истории Польши, так как оно относится к ее столице — Варшаве. Гитлер хотел сохранить «крепость в Варшаве», поляки хотели освободить столицу. Вход Польских Войск и Красной Армии являлся началом освобождения Польши от немецкой оккупации.

3. Это событие всегда подвергалось различной интерпретации в публичном и медиа-дискурсе. В период Польской Народной Республики события 17 января 1945 г. наиболее широко оценивались как «освобождение Варшавы» и важное событие в деле освобождения страны от немецкой оккупации. Второе толкование было и впредь является противоположным первому и определяет эти события как оккупацию Варшавы Советской Армией и внедрение системы социализма.

При проведении анализа школьных учебников был использован качественный контент-анализ. Единицей анализа был учебник. Предметом анализа было содержание: субъекты событий, а именно организации, отдельные лица, общины. Важной была также перспектива событий: глобальная, региональная или местная. Был проанализирован способ изложения событий с точки зрения языка: насколько этот язык является вещественным — фактографическим, насколько специализированным — историческим, военным, а насколько нормативным и идеологическим.

В целом, был проведен анализ 12 школьных учебников, выпущенных в период 1946–2007. Подбирая материал для исследований, мы руководствовались двумя критериями:

1. Временным периодом, в который был составлен учебник и кому он был адресован. Новые учебники обычно выпускались как требование реформ, проводимых в сфере образования, или системных и политических изменений.

2. Возрастом школьной аудитории. Исследование было сосредоточено на анализе учебников, предназначенных для учеников старших классов начальной школы и учеников средней школы.

Стоит упомянуть, что в 1946–1949 годах в Польше для преподавания истории были использованы довоенные учебники, разработанные в рамках школьной реформы 11 марта 1932 г. Новые коммунистические власти разработали руководство для учителей по пользованию этими учебниками относительно обязательного способа представления определенного содержания согласно официальной интерпретации.

Таблица 1. Объем качественного анализа

<i>Период разработки учебника</i>	<i>Кол-во учебников</i>
50-е годы (первые новые учебники, написанные после войны)	2
60-е годы (реформа системы образования от 1961 г.)	2
70-е годы	2
80-е годы (по 1989 г.)	1
Период с 1989 по 1999 (новые программы по истории, содержание, лишенное идеологии, реформа системы образования в 1999 г.)	3
Период с 2000 по 2006 (структурно-программная реформа в области образования)	2
Итого	12

Источник: собственная разработка

Проанализированный исследовательский материал включает в себя учебники, рассмотренные для школ различных уровней образования: старших классов начальной школы, гимназии, средней школы и средней технической школы. Необходимо обратить внимание, что до 1989 года рынок школьных учебников был централизован и подчинен государственным властям и органам управления образованием. Это привело к появлению лишь небольшого числа учебников на рынке. Ситуация радикально изменилась во время польского перехода к демократии. Рынок учебников в значительной степени открылся, в этой области появилась сильная конкуренция между издателями. Практически любой человек мог написать учебник, который, после одобрения центральными органами управления образованием (специалистами из Министерства народного образования), мог быть издан и введен в школах. Это является прямой причиной появления большого количества школьных учебников после 1989 года.

В 2007 году правительство и органы управления образованием приняли решение о продолжении реформы системы образования от 1999 года². Произошла реформа базовой учебной программы, предусматривающая ее изменения в преподавании истории в школах, а также создание новых учебников. Учебники, разработанные после 2007 года, будут предметом следующего этапа исследования в 2010–2011 годах.

Прежде чем приступить к качественному анализу материала, хотелось бы представить некоторые статистические данные, которые помогут читателю определить место описанных событий 17 января 1945 года в структуре учебника, и сопоставить его с описанием другого события, связанного с Варшавой — Варшавского восстания, которое рассматривается здесь как «контрольное событие» из-за различия круга вопросов в учебниках и различия в их объеме. Таблица 2 показывает количество страниц, посвященных обоим событиям и количество страниц в книге.

На основе Таблицы 2 можно отметить, что описание событий 17 января 1945 г. занимает немного места во всех учебниках, меньше, чем описание Варшавского восстания. В 3-х из 12 учебников, относящихся к разным периодам, это событие вовсе не учитывалось. Оно было наиболее подробно описано в учебниках в период 1960–1969. В последних учебниках по истории, которые отличаются большим количеством страниц, их количество для описания событий 17 января 1945 г. представляет самый низкий процент по сравнению с учебниками предыдущих периодов. Возможно заметить следующую тенденцию: чем больше страниц, посвященных описанию Варшавского восстания, тем меньше страниц с описанием событий 17 января 1945 г. В учебнике 1993 года Варшавское вос-

²Реформа системы образования осуществляемая в Польше с 1 сентября 1999 года, помогла превратить двухуровневую систему образования, действующую с 1968 года, в трехуровневую систему: 1. начальная школа 2. Гимназия 3. Средняя школа или профессиональное училище. Реформа включала в себя: структуру системы образования от детского сада до аспирантуры, с введением новой системы школьного обучения, программную реформу, включая введение программных основ и изменение организации обучения, создание независимой от школы системы и принципов оценки и проведения экзаменов, изменения в области управления и надзора адаптированные к новой политической системе страны, введение так называемого Нового Аттестата зрелости, адаптацию школьных учебников к новой учебной программе. Основными причинами проведенной реформы образования можно считать: отсутствие адаптационных способностей прежней системы образования к темпу и масштабам цивилизационных и социальных преобразований, отсутствие равновесия возможностей в плане доступа к образованию на всех уровнях, а также низкий процент молодых людей, получающих среднее и высшее образование, приспособление системы образования к записям Конституции и реформы государственного строя страны, приспособление профессионального образования к меняющимся потребностям рыночной экономики. Реформы системы образования, подготовленные Министерством народного образования, опирались на шесть основных направлений: 1. Новая система школьного образования 2. Внешняя экзаменационная система, 3. Разделение управления от надзора 4. Новый профессиональный статус преподавателя 5. Новые принципы финансирования образования 6. Программная реформа.



Таблица 2. Количественный анализ исследовательского материала

Учебник	Количество страниц учебника	Описание 17 января 1945 г. в Варшаве (%) ³	Количество страниц, посвященных описанию Варшавского восстания (%)
Учебник 1. 1950 г.	508	0%	100%
Учебник 2. 1952 г.	383	5,9%	94,1%
Учебник 3. 1967 г.	288	50%	50 %
Учебник 4. 1967 г.	95	14,3%	85,7%
Учебник 5. 1977 г.	241	0%	100%
Учебник 6. 1978 г.	294	3%	97%
Учебник 7. 1987 г.	224	5,3%	9 (94,7%)
Учебник 8. 1992 г.	367	0,8%	99,2%
Учебник 9. 1993 г.	365	100 %	0% ⁴
Учебник 10. 1994 г.	395	5,9%	94,1%
Учебник 11. 2001 г.	416	0%	100 %
Учебник 12. 2004 г.	528	16,7 %	83,3%

Источник: собственная разработка

стание не было представлено, так как его материал охватывает период после падения Варшавского восстания. Подводя итоги, мы видим, что на уровне простых статистических данных, независимо от того, какой учебник возьмем и когда он был издан, следует принимать рассматриваемые события как не имеющие значения с точки зрения других событий этого периода.

Неужели не существует различий в презентации, даже настолько незначительно представленного события, в учебниках, созданных за более чем 60 лет? При анализе описаний событий 17 января 1945 г. следует однозначно констатировать, что их образ изменялся на протяжении 65 лет.

Сразу после войны, в период 1946–1949, новые, коммунистические органы управления образованием, не имея своих собственных учебников, издали специальную инструкцию для учителей по использованию довоенных учебников, указывая новое «классовое» толкование их содержания. Она включала, между прочим, требования увеличения объема информации о дружеских отношениях Польши с народами Советского Союза, упрощения языка программ и применения принципов социалистической педагогики. Кроме того, предлагалось включить в обучение политические и культурные вопросы.

Учебники 1950–1959 годов отличались представлением анализируемых событий, как ситуации, в которой Советская Армия прибыла с помощью Польше для освобождения ее территории. Акцент ставился на быстрые, эффективные и запланированные действия Советской Армии, что позволило совершить быстрый разгром немецкого оккупанта.

³ Основой процентного подсчета является сумма количества страниц, посвященных описанию событий 17 января, а также описанию Варшавского восстания.

⁴ Варшавское восстание не было представлено в учебнике 1993 г., потому что материал учебника не включает событий этого периода истории Польши.

Илона Голембевска. 17 января 1945 в Варшаве: представление событий в...

Настоятельно подчеркивались сотрудничество Польской и Советской армий, а также благодарность поляков за оказанную помощь. В центре внимания авторов находится исключительно проведение военных операций. Описание содержит многочисленные оценки события автором. Отсутствуют какие-либо ссылки на исторические источники. Можно сделать вывод, что учебники, используемые в 1950–1959 годы, были важным элементом идеологической борьбы. Авторы пользуются эмоционально отмеченным языком, что должно свидетельствовать о взаимной доброжелательности и польско-советском сотрудничестве. Предпринимаемые военные действия представлены как героические и эффективно удерживающие оккупанта от разрушения многих городов Польши. Подчеркиваются положительные стороны новой политической системы. Используются отрицательные выражения для описания польских эмиграционных активистов как людей, сотрудничающих с нацистской Германией. Первый учебник по истории, изданный после Второй мировой войны содержит много оценок исторических событий, сделанных его авторами.

«В мгновенных и тяжелых боях советских войск приняли славное участие I и II Польская Армия. В полдень, 17 января 1945 года Варшава была освобождена» — подчеркнуто участие польской армии в освобождении Варшавы (Учебник 2/1952. С. 318).

«Поражение планов и расчетов «правительства» в изгнании и подчиненной ему Армии Крайовой означало окончательную компрометацию их политического курса в глазах общества, означало окончательный крах польской реакции» — негативная оценка польского правительства в изгнании, (Учебник 1/1950. С. 494).

«Таким образом, в 1943 году, когда падение нацистской Германии в настоящее время это всего лишь вопрос времени, расширяющиеся круги польской реакции начинают все более тесно приближаться к оккупанту. Видимым доказательством этого является создание так называемых Национальных Вооруженных Сил. Это была фашистская организация, поддерживаемая оружием и обмундированием немцев, которые, как правило, не нападали на ее членов, пользуясь поддержкой (проживание, питание) помещичьих имений, состоящая из деклассированных, коррумпированных, преступных элементов» — подчеркивание сотрудничества поляков с немцами (Учебник 1/1950. С. 470).

Проведен анализ учебников из следующего десятилетия, т.е. в период 1960–1969, которые существенно отличаются от предыдущих. Авторы дают более подробную информацию о событиях, сосредоточившись на описании военных действий, а также ситуации в столице. В одном из учебников описаны разрушения, которые имели место в Варшаве после ее захвата Польским Войском и Красной Армией. Один из авторов характеризует немцев, как варваров, которые уничтожили Варшаву. Так же как и в 1950–1959 годы, авторы пытаются показать польских и советских солдат как положительных героев этого события, подчеркивая их сотрудничество и решимость в действии. Описание является фактографическим изложением, детали касаются военных операций, не представлены различные точки зрения, а авторы не указывают исторические источники.

«Часть Польши, расположенная на левом берегу Вислы, была освобождена только во время нового наступления Советской Армии в январе 1945 года. Наступление началось 12 января с плацдарма недалеко Сандомежа и Модлина, обнимая Варшаву сильно с двух сторон, с севера и юга. Первая армия польского войска, в содействии с советскими войсками, форсировала Вислу и 17 января освободила Варшаву. Польские солдаты вошли в опустевший город, представляющий одни руины. Гитлеровские варвары после падения Варшавского восстания завершили дело разрушения, уничтожая и поджигая квартал за кварталом, дом за домом. В северо-западном направлении, в погоне за неприятелем надвигалась Первая Армия» — описание военных действий и эмоциональный комментарий (Учебник 4/1967. С. 272).

«Польские солдаты вошли в опустевший город, представляющий одни руины — гитлеровские варвары после падения Варшавского восстания завершили дело разрушения,



уничтожая и поджигая квартал за кварталом, дом за домом.» — характеризуется эмоциональным языком. (Учебник 4/1967. С. 271).

В учебниках 1970–1988 годов, внимание авторов сосредоточено только на презентации военных операций, не учитывается политический и социальный контекст. Описание чисто фактографическое, нет никаких авторских оценок. Авторы часто ссылаются на источники, что повышает значение сообщения. Методология описания состоит из представления многих фактов на языке военной тактики. В отличие от авторов предыдущих учебников, авторы не подчеркивают взаимных, положительных отношений между польскими и советскими солдатами, указывают только на военное сотрудничество на различных этапах зимнего наступления. Подчеркивается эффективность действий советских войск, их скорость, а также использование многочисленных методов борьбы, в том числе срыв обороны противника, окружение группировок его войск. В описательной части событий подчеркивается самостоятельное занятие Варшавы польскими войсками 17 января 1945 года. Во втором проанализированном учебнике этого периода это событие полностью игнорируется в пользу подробного описания событий, аналогичных по времени, но происшедших раньше, таких, как, например Варшавское восстание.

«Зимнее наступление и освобождение Варшавы. 12 января 1945 года, от Карпат по Балтийское море началось большое наступление Советской Армии и Польского Войска. Подготавливаемая долгое время немецкая система противоракетной обороны разлетелась в течение нескольких дней» — подчеркиваются масштабы и темп военных операций, фактографическое описание. (Учебник 6/1978. С. 203)

«17 января польские войска освободили Варшаву и отправились в погоню за отступающим противником. Благодаря скорости атаки советских войск, а также тактике разрыва защиты противника и окружения группировок его войск, от уничтожения были спасены многие польские города, особенно Краков с бесценными памятниками польской культуры, промышленная Силезия, Лодзь, Ченстохова и другие» — подчеркнута эффективность военных операций. (Учебник 6/1978. С. 203).

Что касается периода 1980–1989 годов, до сих пор проанализирован только один учебник, поскольку доступ к другим осложнен. Это учебник, который подробно излагает события, при этом внимание авторов сосредоточено на описании военных действий, особенно на описании действий Польского Войска до входа в Варшаву. Изложение в основном военного и фактографического характера, автор не представляет разных точек зрения, не дает своей личной оценки, ссылаясь на источник данных. При описании событий автор не приводит данных об участии советских войск, зато представляет подробный состав польской армии. Автор не употребляет выражения «освобождение Варшавы», но использует его при написании глав «Освобождение Польши» и «Освобождение польских территорий в 1945 году». Автор не представляет данных о потерях, понесенных Польшей или немецкими и советскими войсками. Отсутствует также информация об отношениях между Польшей и Советским Союзом.

«Первая Армия Польского Войска начала действия 16 января. В тот же день вторая пехотная дивизия пересекла Вислу в районе Кемпы Келпинской и развернула наступление в южном направлении по левому берегу реки. (...) В ночь с 16 на 17 января в бой были введены главные силы первой польской армии, которые пересекли Вислу на уровне Горы Кальварии, и начали наступление на западном берегу реки в направлении Варшавы. В то же время, первая пехотная дивизия пересекла Вислу в районе Белян, Секерек и Вилянова. 17 января начались основные бои за Варшаву. В тот же день вечером Варшава была свободна» — подробное описание военных действий, рассказ основан на фактах, автор не учитывает участия советских войск. (Учебник 7/1987. С. 151).

После 1989 года, в переходный период от 1990 по 1999 год мы имеем дело с новым изображением событий 17 января 1945 года. В одном из учебников, автор ставит вопрос: следует ли рассматривать события 17 января 1945 года как «освобождение Варшавы», или же, как

захват Варшавы Советской Армией и введение советской оккупации? Глава носит название «Освобождение или новая оккупация». Во всех трех учебниках событие описано фактографическим способом, внимание авторов сосредоточено на описании военных действий.

«Первая Армия Польского Войска действующая в рамках Первого Белорусского фронта перешла 16 января 1946 года в наступление. А на следующий день заняла Варшаву» — независимые действия польской армии. (Учебник 8/1992. С. 311).

«12 января 1945 года. Началось зимнее наступление Красной Армии, в составе которой сражались Первая и Вторая армии Польского Войска. (...) Главный удар первого Белорусского фронта, в составе которого сражалась Первая армия Польского Войска под командованием генерал-майора Станислава Поплавского, наступил в районе реки Пилицы. 17 января, после охватывающей атаки, были заняты руины Варшавы. Через два дня немцы покинули Лодзь. В конце января, начале февраля советские войска дошли до довоенных границ Рейха» — описание военных действий. (Учебник 9/1993. С. 34).

Зато в школьных учебниках 2000–2004 годов можно заметить тенденцию «обходить» события 17 января 1945 года, или указывать лишь их время и место. Отсутствуют подробное описание и комментарии авторов. Из двух проанализированных учебников за этот период, в одном события 17 января 1945 года вообще не упоминаются, а во втором они только указаны в календаре событий, который находится в конце главы.

«17 января — левый берег Варшавы был освобожден советскими войсками и Первой армией Польского Войска» — информация из календаря событий. (Учебник 12/2004. С. 448).

Подводя итоги анализа школьных учебников по истории, изданных в период 1949–2007, следует сказать, что:

— Представление событий 17 января 1945 года в проанализированных школьных учебниках для преподавания истории в годы с 1945 по 2007 характеризуется подробным описанием военных операций, но не учитываются такие аспекты как: ситуация глазами жителей Варшавы, размер потерь, оценка событий тогдашними основными политическими деятелями и общественными авторитетами.

— События 17 января 1945 года во всех проанализированных учебниках рассматриваются как маргинальные, а в некоторых опускаются (3 учебника). Учебники значительно различаются в презентации события. В некоторых учебниках они описаны более подробно, но в основном с учетом военных действий, а в других лишь отмечены указанием даты и места.

— Описание, содержащееся в учебниках, не предоставляет информации о важности этого события в более широком политическом контексте, ни для Польши, ни в международном масштабе.

— Существуют существенные различия в представлении общей картин: по-разному определяется роль польских и советских войск, различается степень детализации, эмоциональной убедительности. Разнятся также ссылки на источники. Тем не менее, трудно отнести напрямую, соотнести определенные черты изложения с тем периодом, в котором создавались эти учебники.

— Следует отметить следующие значительные сходства — авторы сосредоточены на военном аспекте событий, используют риторiku описания из учебников военной тактики, не представляют дискуссии, мнений и / или комментариев по поводу описываемых событий и их последствий.

— В период 1950–1989 годов можно заметить более частое использование учебника по истории для продвижения политических/идеологических лозунгов.

Анализ языка описания событий в учебниках указывает на:

— использование военной терминологии, с огромным количеством военных терминов, таких как *«Наступление началось 12 января с плацдарма недалеко Сандомежа и Модлина, обнимая Варшаву сильно с двух сторон, с севера и юга. Первая армия польского войска, в содействии с советскими войсками, форсировала Вислу и 17 января освободила Варшаву».* (Учебник 4/1967. С. 272)



— использование идеологически насыщенного, эмоционального языка, привлечение субъективного рассказа: «Таким образом, в 1943 году, когда падение нацистской Германии было всего лишь вопросом времени, все более широкие круги польской реакции начали все более тесно сближаться с оккупантами». (Учебник 1/1950. С. 470),

— учебники значительно отличаются друг от друга с точки зрения употребления убедительных комментариев, например — «<...> гитлеровские варвары после поражения Варшавского восстания завершили дело разрушения, уничтожая и поджигая квартал за кварталом, дом за домом». (Учебник 4/1967. С. 271), «Поражение планов и расчетов «правительства» в изгнании и подчиненной ему Армии Крайовой означало окончательную компрометацию их политического курса в глазах общества, означало окончательный крах польской реакции». (Учебник 1/1950. С. 494).

— значительные различия наблюдаются в описательной части событий в учебниках одного периода, например «Только новое советское зимнее наступление, начавшееся 12–15 января по всему фронту от Карпат, принесло освобождение Варшавы 17 января 1945 года» (Учебник 3/1967. С. 274), «Первая армия польского войска, в содействии с советскими войсками, пересекла Вислу и 17 января освободила Варшаву» — подчеркивание сотрудничества. (Учебник 4/1967. С. 271).

В заключение, следует констатировать, что на основе анализа школьных учебников по истории очень сложно сформулировать ответ на вопрос о том, что произошло в Варшаве 17 января 1945 года. Особенно, если учесть более широкий аспект: степень разрушения столицы, а также социальную и политическую реакцию после входа Польского Войска и Красной Армии в Варшаву.

Литература

Carr E. (1999) Historia. Czym jest?, Poznań, Zysk i s-ka.

Ronikier J. (2002) Mit i historia. Mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Учебники

1. Żanna Kormanowa, Witold Kula. Historia Polski 1864–1945 : materiały do nauczania w klasie 11. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1950.
2. Gryzelda Missalowa, Janina Schoenbrenner. Historia Polski. PZWS, Warszawa, 1952.
3. Henryk Sędziwy. Historia dla klasy XI. Od wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej do końca II wojny światowej. PZWS, Warszawa, 1967.
4. Józef Garas. Historia: 1914–1945: dla kl. 3 techników. Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa, 1967.
5. Roman Wapiński, Historia dla klasy 4 liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy 3 technikum. Część II. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1977.
6. Andrzej Leszek Szcześniak. Historia dla klasy VIII. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1978.
7. Szaflik, Józef Ryszard. Historia Polski 1939–1947. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
8. Tadeusz Głubiński. Historia 8. Trudny wiek XX. WSiP, Warszawa, 1992.
9. Roman Tusiewicz. Historia 4. Polska współczesna 1944–1989. Podręcznik dla klasy IV liceum ogólnokształcącego. WSiP, Warszawa, 1993.
10. Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski. Historia 1871–1945. Podręcznik dla szkół średnich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
11. Włodzimierz Mędrzecki, Robert Szuchta. U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze, Gimnazjum 3. WSiP, Warszawa, 2001.
12. Jerzy Kochanowski, Przemysław Matusik. Człowiek i historia, Cz.4 Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek). Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WSiP, Warszawa, 2004.

Тяжелый груз воспоминаний и неудобные «места памяти». Исследование коллективной и культурной памяти о событиях 17 января 1945 года в Варшаве¹

Эва Кристина Селлава-Колбовска*

Введение

Статью я начну с призыва к читателю предварительно ознакомиться с двумя статьями этого же номера журнала, а именно текстом Войцеха Полеца (*Wojciech Połec*) под названием «Культурная память в качестве определяющего отношения поляков к россиянам» («*Pamięć kulturowa jako wyznacznik postaw Polaków wobec Rosjan*»), а также текстом Илоны Голембевской (*Ilona Gołębowska*), под названием «17 января 1945 года в Варшаве: представление событий в польских школьных учебниках по истории». Наши три статьи являются своеобразной трилогией, состоящей из обработки первых результатов исследований, проведенных в рамках проекта под заглавием «1944/1945 года в Варшаве — в коллективной памяти поляков и русских. Тяжелые коммуникативные воспоминания и неудобные места памяти».

Проект, который я начала с коллегами-социологами и студентами, весной 2010 года, на отделении гуманитарных наук Главной школы сельского хозяйства в Варшаве (SGGW), имеет несколько целей, две из которых претендуют на научность:

Первая цель. На примере событий 1944/45 года в Варшаве, прежде всего, вступлении Красной Армии в разрушенный город, показать закономерности коллективной памяти, такие как превращение коммуникативной памяти в память культурную, зависимость процессов увековечивания от политики, множественность повествований коллективной памяти и культурной памяти — иногда конкурирующих, иногда параллельных.

Вторая цель. Показать, «что осталось от прошлого», каково содержание коллективной памяти о событиях 17 января 1945 года. Ответить на вопрос — насколько эта память «разделена», и на сколько «разделяема».

Кроме того цели проекта касаются другой важной задачи — «построения исторического сознания» и охватывают:

1. обогащение архива свидетельств очевидцев событий, как «освобожденных» (поляков), так и «освободителей» (солдат Красной Армии), в результате проведения интервью с участниками событий.

* Эва Кристина Селлава-Колбовска, руководитель проекта «1944/1945 годы в Варшаве — в коллективной памяти поляков и русских. Тяжелые ресурсы общих воспоминаний и неудобные места памяти», профинансированного Министерством науки и высшего образования Польши, реализованного на кафедре социологии, отделения гуманитарных наук в Главной школе сельского хозяйства в Варшаве, e-mail: krystyna_siellawa_kolbowska@sggw.pl.

¹ *Trudne wspólnoty pamiętania i kłopotliwe miejsca pamięci (польский) / The difficult communities of remembering and the inconvenient sites of memory (английский).*



2. работу со студентами, осуществляющими исследования мест памяти, связанных с вступлением Красной Армии в Варшаву 17 января 1945 года.

3. презентирование результатов исследования на польско-российских семинарах с целью:

— представить феномены коллективной памяти обоих народов;

— сообща поразмышлять над «плохими» и «хорошими» повествованиями в коллективной памяти.

Почему 17 января 1945 года в Варшаве?

Хотелось бы пояснить, почему мы выбрали для наших исследований коллективной и культурной памяти варшавские события 17 января 1945 года. Они означали окончательный выход из Варшавы немецких войск и занятие ее союзническими польскими и советскими войсками. 17 января 1945 года столица Польши стала свободной от немецкой оккупации. В военном смысле, это не было крупной военной операцией в масштабе 1-го Белорусского фронта. Однако она вписалась в сложную и трудную символику, которая определяет процесс создания коллективной и культурной памяти об освобождении Варшавы и по сей день. Для исследователя социальной памяти это событие интересно с той точки зрения, что память (коллективная и культурная) об освобождении Варшавы формируется с 1945 года. Поэтому она охватывает две различные политические системы — реальный социализм ПНР (Польская Народная Республика) и демократию III РР² (Польская Республика).

Важным аспектом событий 17 января 1945 года была их скорая инструментализация советскими властями в 1945–1956 годах при согласии польских руководителей. Установка нескольких памятников прочно увековечивает вклад советских солдат в освобождение Варшавы, так что по сей день их присутствие вписано в пространство города. Однако, как пишет Алейда Ассманн, «Ее ресурсы (т.е., коллективной памяти — *доп. Е.С.К.*) невозможно радикально унифицировать или политически инструментализировать, так как по своей сущности они открыты для множественности интерпретаций». (Assmann, 1998) Поэтому именно это событие позволяет проследить многослойное сплетение дискурса идеологии, памяти, общественного самосознания, а также позволяет описать, что происходило позже в коллективной памяти с «установлением политического декрета» в 1945 году, какие ассоциации, а также повествования создавались и кем. Интересен также вопрос когда и с какой целью они укреплялись, насколько были эффективными, и вписывались ли они в механизмы создания коллективного самосознания и социальных групп, выдвижения одних и исключения других из общественной жизни и дискурса³.

С еще одной точки зрения события 17 января 1945 года в Варшаве являются для нас интересными. Это события из недавнего прошлого, их коммуникативная память может укрепить польско-российский диалог на тему истории соседства. Опыт военных тягот и борьбы дает шанс преодолеть перспективу монолога, ведущегося с позиции одного соседа, и перейти к диалогу и размышлениям над опытом другого соседа. Это событие

² Считается, что принятие, т.н. контрактным Сеймом, решения вернуть польскому государству название Польская Республика и герба в виде орла в короне, которое вступило в жизнь 31 декабря 1989 г., символически дало начало созданию т.н. III Польской Республики. Конституция РР от апреля 1997 г. в своей преамбуле содержит название Третьей Польской Республики.

³ Подобный вопрос задает и пытается на него ответить Мальвина Орепук (*Malwina Orepuk*), исследуя процесс создания общественной и культурной памяти о бомбардировках Дрездена, которое привело к кристаллизации символических рамок восприятия города. W: Skażona pamięć o bombardowaniach Drezna, Kultura Wspy zczesna, nr. 1/2010.

подходит для исследования культуры памяти как собственного, польского общества, так и российского, посредством их реального, взаимного влияния друг на друга, так как «они были у нас», а мы «были у них»⁴.

В то же время стоит помнить, что события 17 января 1945 года в Варшаве были восприняты коммунистическими властями, упрочены ими в городском пространстве посредством советских памятников и включены, тем самым, в «официальную» культурную память. Однако действия властей не уничтожили многослойного значения событий в общественном сознании. События, как и их культурные символы, создавали дифференцированное повествование, связанное с отношением поляков к советской власти, а после 1989 года, к российскому народу.

Что случилось 17 января 1945 года в Варшаве? — три перспективы

17 января 1945 года, подразделения 1-й Армии Войска Польского первыми вошли в Варшаву. Занятие города произошло без боя, главные немецкие силы покинули город раньше. Бои свелись к нескольким схваткам.

1. Советская перспектива.

Январь 1945 года был временем, когда советские войска перешли в наступление. Советские войска двинулись маршем на Берлин. Решение об освобождении Варшавы было результатом политических и военных калькуляций. В составе 1-го Белорусского фронта находилась 1-я армия Войска Польского. План нападения 1-го Белорусского фронта предполагал, что 48-я и 61-я армия Белорусского фронта замкнет внешнее кольцо окружения вокруг Варшавы. Затем удар должна была нанести непосредственно 1-я армия Войска Польского и первой взять Варшаву.

Город в январе 1945 года был совершенно разрушен, а жители Варшавы были выселены немцами. До 16 января 1945 года командование армии было уверено, что бой за Варшаву будет исключительно жестоким и кровавым. Когда 16 января произошло быстрое отступление немцев из Варшавы, советские власти все еще рассчитывали на эффект «освобождения в ходе тяжелых боев». 19 января 1945 года, после вступления советских и польских войск в Варшаву, был организован парад на развалинах. Учрежденную И. Сталиным в 1945 году медаль «За освобождение Варшавы» получило более 700 тысяч человек, среди них и солдаты 1-й армии Войска Польского. В 1945–1950 годах власти установили три памятника, увековечивающих вклад советских войск в бой за Варшаву. Во времена ПНР 17 января отмечался как День освобождения Варшавы, а партийная пропаганда ПНР утверждала, что советские войска имеют большие заслуги перед городом.

2. Польская перспектива.

События 17 января 1945 года в Варшаве, несмотря на небольшое стратегическое значение в перспективе всего Восточного фронта, и сравнительно с масштабом ведущих боев, по нескольким причинам имели для поляков, важное символическое значение:

А. Варшава как столица Польши стала свободной, хотя война еще шла. Несмотря на деградацию во время немецкой оккупации до роли провинциального города, Варшава осталась центром польской политической, интеллектуальной и культурной жизни. Она являлась штаб-квартирой Польского подпольного государства.

Б. Важными были события, предшествовавшие освобождению: оборона Варшавы в сентябре 1939 года, ход Варшавского восстания и капитуляция повстанцев 3 октября

⁴ Этот подход аналогичен принятому в польско-немецком проекте: *Polskie i niemieckie kultury pamięci w historii długiej*. Nowe podejście do dziejów stosunków polsko-niemieckich. Patrzą: http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=21&lang=pl



1944 года. Оба поражения (героические в восприятии поляков) не лишили Варшаву звания «Непокоренного города», каким ее считали не только поляки. Представитель оккупационных властей, генерал-губернатор Ганс Франк писал: «Если бы у нас в Генерал-губернаторстве не было Варшавы, то у нас не было бы 4/5 трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться. Варшава есть и останется очагом бунта, точкой, из которой в этой стране распространяется смута».

В. События 17 января 1945 года в Варшаве стали политической картой для польских политических кругов, которых поддерживали советские власти. Варшавская операция, то есть, бои за Варшаву, имели свой политический сценарий, в котором была согласована роль, которую сыграла 1-я армия Войска Польского, сражающаяся в роли союзника Красной Армии⁵. Довоенный, демократически избираемый Совет столичного города Варшавы был заменен на Варшавский национальный совет, назначаемый партией⁶.

Г. В местном значении, 17 января 1945 года — это начало возвращения жителей Варшавы в город. Начинается новый этап — благоустройство польскими и советскими солдатами, а также гражданским населением разрушенной и заминированной территории. Изгнание населения Варшавы, осуществленное немцами в ходе, а также после окончания Варшавского восстания, имело беспрецедентный масштаб. Оценивается, что между августом и октябрём 1944 года немецкие власти выселили около 600 тысяч жителей, из них около 150 тысяч было направлено на принудительные работы вглубь Рейха или в концентрационные лагеря. (Getter, 2004) Однако население массово возвращалось в Варшаву. В сентябре 1945 года в Варшаве уже жило 422 тысячи человек⁷.

3. Немецкая перспектива.

Гитлер был заинтересован в сохранении Варшавы, которая занимала важное положение в берлинских стратегических планах. 28 сентября 1944 года — Верховное командование Сухопутных войск (ОКХ) объявило Варшаву крепостью, что, среди прочего, должно было оправдать уничтожение города с целью подготовки обороны, за которую отвечала крепостная дивизия «Варшава». Ничто не свидетельствовало о том, что немцы откажутся от обороны города. Однако, когда оборона немецких войск на Висле была прорвана, гитлеровское командование (ОКХ), из-за опасения перед окружением и уничтожением своих сил на Висле, 16 января разрешило группе армии «А» отступить от Вислы и Нарвы. Гитлер решения командования не принял и приказал защищать прежние позиции, среди них и Варшаву, но его приказы уже не могли остановить отступление немецких войск. 17 января 1945 года немцы с небольшими потерями покинули левобережную Варшаву, где было разрушено 84% зданий⁸.

Места памяти — общие или отдельные, «спайки» или «отбросы»?

Важным понятием в исследованиях культурной памяти является понятие «места памяти». Разумеется, оно, как и понятие культурной памяти, требует определения смыслового диапазона. Мы рассматриваем эту концепцию «мест памяти», не ограничиваясь лишь топографией, или материальными следами событий, сохраняя связь представлений, фантазий, образов прошлого с материальными пространственными объектами. Для их создания и/или аннулирования не достаточно того, что политический субъект провозгласит его «увековечивающим прошлое». Места памяти — это такие события из прошлого, у которых есть способность создавать связи, которые «кристаллизуют» групповую память. Поэтому местом памяти будет только такая форма, представление

⁵ В январе 1945 года 1-я армия Войска Польского насчитывала около 90 тысяч солдат.

⁶ Первое заседание Варшавского национального совета состоялось в подполье 19 января 1944 года. Были также мэры Варшавы, выдвинутые партией.

⁷ Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa, 2004 (tom 8).

⁸ Raport o stratach wojennych Warszawy. Warszawa: m.st. Warszawa, listopad 2004 r.

прошлых событий или материальных объектов, которая что-то для кого-то значит, в двойном смысле этого слова, то есть, наполнена смыслом и является ценной.

До того, как перейти к формулированию собственных исследовательских вопросов, я хотела бы сослаться на важную методологическую подсказку, сформулированную польскими и немецкими исследователями мест памяти. Они считают, что в исследовании мест памяти стоит учесть три важных аспекта: процесс конструирования мест памяти, историю мест памяти и функции мест памяти. Что касается истории мест памяти, то авторы хотят не только подчеркнуть различие между событием прошлого, либо его непосредственным восприятием, и его сегодняшним образом в современной памяти, но также исследовать и представить историю конструирования памяти на протяжении прошлое-настоящее. Если же говорить о третьем аспекте, то есть, функциях мест памяти, то они, прежде всего, относятся к коллективному самосознанию обществ⁹.

В наших исследованиях мы используем схожую схему исследовательского процесса. Представляя первые результаты анализа, я концентрируюсь на двух исследовательских вопросах. Первый относится к тому, «что осталось в прошлом», то есть, каково сегодня содержание памяти поляков о событиях 1945 года в Варшаве.

Второй вопрос касается динамики отношений поляков к памятникам советским воинам, а, значит, определение устойчивости и специфики такого рода «фигур» культурной памяти либо, используя другое понятие, — медиумов памяти (*Gedachtnismedien*)¹⁰.

И если анализ содержания памяти поляков будет служить описанию польской коллективной памяти, как упрочивающей определенный историко-общественный опыт, то понимание отношения поляков к памятникам советским воинам должно помочь определить их функцию и решить, занимают ли они место в почетном архиве культурной памяти, общественной традиции и коммуникации, или они являются «отбросами» на свалке памяти, пользуясь определением Алейды Ассманн. (*Assmann, 2009*) Поставить такой вопрос побудили результаты пилотажного полевого исследования, реализованного со студентами в 2008/2009 учебном году. В городском пространстве Варшавы было найдено три памятника советским воинам, увековечивающих события зимы 1945 года. Памятники оказались в большинстве активными местами памяти, которые все еще собирают разные группы. Включенное наблюдение с использованием визуальных техник, интервью с представителями городских учреждений, ответственных за содержание памятников, с представителями ветеранских организаций, с жителями, встреченными в районе памятников, а также интервью с очевидцами событий зимы 1944/45 года показали, что по прошествии более 60 лет эти места не забыты. Предварительное исследование без труда получило «хорошие» и «плохие» повествования, связанные с вступлением Красной армии в разрушенную столицу Польши.

Отдельным этапом исследования стал опрос общественного мнения в масштабе всей Польши на тему событий 17 января 1945 года в Варшаве, а также мнения относительно памятников советским воинам в Польше. Поэтому представленные результаты будут касаться всех поляков, а не только жителей Варшавы.

17 января 1945 года в Варшаве.

Образ событий в свете исследований общественного мнения

Для социолога предложение Пьера Нора (*Pierre Nora*) заниматься «историей второй степени» создает интересные исследовательские перспективы, так как его сущность заключается в постановке вопросов о возникновении коллективных представлений о прошлом, их устойчивости, но и тех тех изменениях, которым они подвергались и

⁹ *Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte Reader dla Autorek i Autorów artykułów na temat polsko-niemieckich miejsc pamięci wydanie czwarte (czerwiec 2009 r.), S. 25.*

¹⁰ В Польше историк Марцин Кула (*Marcin Kula*) использует очень широкий термин — носители памяти.



подвергаются. Применяя социологические методы, в том числе опросы общественного мнения, можно получить ответы на такие вопросы. Социологические исследования общественного сознания могут быть полезными при исследовании и анализе символического измерения прошлого, а также при анализе функционирования мест памяти. Социологические исследования памяти не должны сводиться лишь к анализу восприятия прошлого, а, начиная с описания того, что сейчас осталось от прошлого в сознании исследуемых людей, подвергать анализу дифференциацию образов прошлого, как и их обусловленность. Они могут помочь открыть и выяснить память «разделяемую» и «разделенную» в обществе и обществах¹¹.

Начнем с вопроса, который позволит нам оценить знание об интересующих нас событиях. Мы задавали полякам открытый вопрос: «Что, по Вашему мнению, произошло 17 января 1945 года в Варшаве?»¹² Мы получили расклад ответов, который свидетельствует о том, что события 60-летней давности, события, которые более 20 лет назад утратили в Польше «легитимацию» на всепольское чествование, все-таки сохранились в памяти значительной части поляков. Почти каждый третий самостоятельно сформулировал правильный ответ на этот вопрос, т.е., ответ, соответствующий историческому знанию. Таблица 1 представляет полный расклад ответов на этот вопрос.

Таблица 1. Знания поляков относительно событий 17 января 1945 года в Варшаве

<i>Что, по Вашему мнению, произошло 17 января 1945 года в Варшаве?</i>	<i>% ответы</i>
<i>Правильный ответ</i>	<i>31</i>
<i>Неправильный ответ</i>	<i>25</i>
<i>Затрудняюсь ответить</i>	<i>44</i>
<i>Всего</i>	<i>100</i>

Правильными ответами мы посчитали те, которые определяли события 17 января 1945 года как: освобождение Варшавы, либо вхождение советских и польских войск в Варшаву, либо вхождение Красной Армии, либо вхождение советских и польских войск, занятие Варшавы советскими и польскими войсками. Среди ошибочных ответов доминировали события, связанные со Второй мировой войной, такие как окончание Варшавского восстания, либо конец войны в Польше, либо окончание Второй мировой войны.

Мнение поляков относительно памятников советским воинам в Польше

Вместе с уходом свидетелей истории увековечивание истории переносится во внешнее пространство: ритуальное и материальное. Процессы материализации, ритуализации и институционализации памяти вызывают общественные реакции, люди имеют разное отношение к этой деятельности. Насколько, и имеем ли мы вообще, дело с постоянством коллективной памяти и коллективным представлением о прошлом? Дифференцированные реакции вызывают также более или менее решительные попытки декретировать, что стоит

¹¹ Ханс Хенниг Хан (*Han Henning Hahn*) спрашивает — зачем нам *histoire au second degré* в исследовании истории народа и истории взаимодействий? И отвечает: «История второй степени может пониматься как занятие своего рода *histoires croisees*, так как в центре ее внимания находятся различные связи с прошлым, различные формы передачи интерпретаций прошлого, взаимно обуславливающиеся способы произведения значений и создания ассоциаций, касающихся прошлого», *Kultura Współczesna*, nr. 1/2010.

¹² Исследования реализовал с 20 по 27 января 2010 года исследовательский центр CBOS, случайный отбор (персональный код — *PESEL*), случайная представительная выборка взрослых жителей Польши (18 лет и старше), N=1026 человек.

помнить, либо что сделать с неудобными памятниками прошлого. Как я упоминала ранее, события 17 января 1945 года вскоре были превращены в политическое повествование, которое, разумеется, различным образом переkreщивалось с повествованием свидетелей, как и повествованием коллективной памяти поляков. Власти быстро «увековечили» события 17 января 1945 года, среди прочего, посредством установления памятников советским воинам. Три самых больших и самых важных были созданы в 1945–1950 годах.

Проблема памятников советским воинам времен Второй мировой войны (1939–1945) приобрела специфическое значение по прошествии шестидесяти лет с момента окончания войны, и не только в Польше. В 2007 году в Таллинне, столице Эстонии, имели место громкие события в связи с переносом памятника советским воинам из центра города на кладбище. В это время в Польше оживленные дебаты вызвал один из проектов закона о декоммунизации, который предусматривал, среди прочего, снос подобных, немногочисленных уже памятников с улиц польских городов как символа «чужого господства». По вопросу памятников советским воинам, находящимся вне территории России, высказывались важные российские политики и российские власти. Проведенный в мае 2007 года опрос исследовательского центра *TNS OBOP* зарегистрировал «по горячим следам», что по этому поводу думают поляки. Исследования общественного мнения полезны в определении того, что памятники символизируют сегодня для поляков. По этой причине мы повторили вопросы на эту тему в исследованиях, проводимых в рамках нашего проекта. По

Таблица 4. Символика памятников советским воинам в Польше, по мнению поляков, в 2007 и 2010 годах

<i>В некоторых польских городах стоят памятники советским воинам. Являются ли для Вас лично эти памятники символом освобождения Польши Советским Союзом или символом порабощения Польши Советским Союзом?</i>		
	<i>Исследование произведенное в году:</i>	
	<i>2010¹³</i>	<i>2007¹⁴</i>
	<i>%</i>	<i>%</i>
<i>Являются символом освобождения Польши Советским Союзом</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
<i>Являются символом порабощения Польши Советским Союзом</i>	<i>44</i>	<i>33</i>
<i>Затрудняюсь ответить</i>	<i>17</i>	<i>29</i>
<i>Всего</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

¹³ Опрос провел *CBOS*, с 20 по 27 января 2010 года, на основе всепольской случайной представительной выборки (персональный код – *PESEL*) из 1026 взрослых жителей Польши (18 лет и старше).

¹⁴ Опрос провел *TNS OBOP*, с 10 по 14 мая 2007 года, на основе всепольской случайной представительной выборки из 1004 жителей Польши (старше 15 лет).



всепольской выборке поляков спросили напрямую: «Являются ли для Вас лично эти памятники символом освобождения Польши Советским Союзом или символом порабощения Польши Советским Союзом?» Таблица 4 показывает расклад ответов о символике памятников советским воинам в Польше.

В 2007 году в польском обществе небольшой перевес имели люди, для которых памятники советским воинам были символом освобождения (38%), а не порабощения (33%) Польши Советским Союзом. В свою очередь, в 2010 году главенствующей интерпретацией стало порабощение (44%). Уменьшилось также количество поляков, которые не могут определить своего мнения по этому вопросу. Наверняка, это они в 2010 году пополнили группу, воспринимающую памятники советским воинам как символ порабощения. Несомненно, мы имеем дело с ситуацией, в которой прочтение и интерпретация символики памятников советским воинам значительно разделяет поляков. С годами становится меньше тех, кого интерпретация затрудняет. В обоих исследованиях среди молодых людей порабощение немного преобладает над освобождением. В свою очередь, в группах среднего возраста в течение 3 лет ситуация значительно изменилась. В 2007 году интерпретация порабощения немного преобладала над освобождением, в то время как в 2010 году поляки средних лет явно чаще видели в памятниках советским воинам символ порабощения. Среди самого старшего поколения (50 лет и старше) в 2007 году освобождение явно преобладало над порабощением, в свою очередь, в 2010 году прочтение символики среди пожилых людей не отличалось столь сильно. В обоих исследованиях образование не имело систематического значения, в свою очередь, дифференцированное восприятие памятников как выразительного символа памяти зависит в Польше от места жительства. В деревнях, малых и средних городах явно преобладает повествование освобождения, а в больших городах — преобладает повествование порабощения. Оба опроса, в 2007 и 2010 годах, показывают, что самое сильное влияние на интерпретацию символики памятников имеют политические взгляды поляков, и срок длиной в три года ничего здесь не изменил. Среди опрошенных, придерживающихся левых взглядов, «освобождение» встречается в два раза чаще, чем среди опрошенных с правыми взглядами, а «порабощение» в два раза чаще видят в памятниках люди с правыми, чем с левыми взглядами.

Что необходимо сделать с памятниками советским воинам в Польше?

Связано ли с выявленными мнениями поляков относительно символики памятников также и одобрение ими определенных действий? Видимый символ порабощения, то есть, чужого господства, может раздражать, вызывать неприятные чувства, рессентименты, негативные стереотипы (антисоветские, антироссийские). Это может провоцировать к более или менее резким действиям как официальным (например, дипломатические ноты), как и неофициальным, спонтанным (вандализм, протесты). Можно пытаться эти памятники убрать из общественного пространства, можно пытаться их перенести на кладбище советским воинам, а можно оставить их на месте. Данные на эту тему мы получили в ходе трех замеров: первый — в мае 2007 года, второй — в январе 2010 года, и третий — в мае 2010 года. Таблица 5 представляет ответы поляков на вопрос: Что, по Вашему мнению, нужно сделать с этими памятниками?

Когда респондентов попросили, чтобы они выбрали одну из вышеназванных возможностей, то абсолютное большинство, в каждом из трех исследований, высказалось за то, чтобы оставить памятники на месте. Мы наблюдаем значительный рост количества сторонников такого решения. Их существенный прирост в начале мая 2010 года (75% в этот период), месяц спустя, после трагической катастрофы президентского самолета под Смоленском, мы можем считать показателем не только «потепления» польско-российских настроений в Польше, но и «смягчения» коллективной памяти поляков, поскольку явно уменьшилась группа сторонников переноса этих памятников на кладбища, а за их ликвидацию в 2010 году высказались незначительные 3% опрошенных. Слишком короткий

Таблица 5. Одобрение поляками определенных действий в отношении памятников советским воинам

<i>Что, по Вашему мнению, нужно сделать с этими памятниками?</i>			
<i>Ответы:</i>	<i>май 2010¹⁵</i>	<i>январь 2010</i>	<i>май 2007</i>
<i>Убрать их</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
<i>Перенести на ближайшее кладбище советским воинам</i>	<i>16</i>	<i>27</i>	<i>28</i>
<i>Оставить на месте</i>	<i>75</i>	<i>59</i>	<i>57</i>
<i>Затрудняюсь ответить</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
<i>Всего</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

период, разделяющий отдельно взятые исследования, не позволяет делать твердые выводы относительно перемен в границах «коллективной памяти» поляков. Мы будем использовать этот показатель в следующих исследованиях. Насколько одобрение определенных действий в отношении памятников советским воинам связано с сильно дифференцированными среди поляков интерпретациями символики памятников советским воинам? Обращает на себя внимание тот факт, что среди поляков больше людей, которые выступают за то, чтобы оставить памятники на месте, чем людей, которые считают эти памятники символами освобождения.

Мы провели анализ и сравнили данные двух замеров — мая 2007 и января 2010 года. Таблица 6 представляет данные о зависимости между интерпретацией символики памятников советским воинам и одобрением определенных действий в отношении памятников советским воинам.

Очевидным видится тот факт, что те, для кого памятники являются символом освобождения, выступают в решительном большинстве (81% и 82%) за то, чтобы оставить их на своем месте. Но следует обратить внимание, что за оставление в 2007 году высказался почти каждый третий респондент, из тех, для кого памятники являются символом порабощения, а в 2010 году таких людей было около 40%. Респонденты, усматривающие в памятниках советским воинам порабощение, чаще всего выступают за перенос памятников на кладбища (47% в 2007 году и 44% в 2010 году). Даже те, для кого памятники советским воинам — это символы порабощения Польши Советским Союзом, намного реже высказываются за их ликвидацию (19%), чем за то, чтобы оставить их на месте (31%).

Подводя итоги, можно сказать, что поляки не хотят польско-русской войны за памятники. Но все-таки, может ли нам такая война угрожать? Памятники советским воинам в Польше являются примером своеобразных мест памяти. В перспективе польской и российской коллективной памяти они являются сегодня, как показывают наши исследования, скорее обособленными местами памяти, чем общими для поляков и русских. За их обособленность, как и за национальное слияние, отвечают, в большой степени,

¹⁵ Опросы проведены в январе и мае 2010 года. Главное исследование — зимнее, было проведено немногим позже 17 января, т.е., очередной годовщины освобождения Варшавы. Майское исследование было проведено после катастрофы под Смоленском, которая явным образом изменила польско-русские отношения.



Таблица 6. Зависимость между интерпретацией символики памятников советским воинам и одобрением определенных действий в отношении памятников советским воинам

<i>В некоторых польских городах стоят памятники советским воинам. Являются ли для Вас лично эти памятники символом освобождения Польши Советским Союзом или символом порабощения Польши Советским Союзом?</i>						
<i>Что, по Вашему мнению, необходимо сделать с этими памятниками?</i>	<i>Являются символом освобождения Польши Советским Союзом</i>		<i>Являются символом порабощения Польши Советским Союзом</i>		<i>Совокупность опрошенных</i>	
	<i>2007</i>	<i>2010</i>	<i>2007</i>	<i>2010</i>	<i>2007</i>	<i>2010</i>
<i>Убрать их</i>	1	4	19	16	8	10
<i>Перенести на ближайшее кладбище советским воинам</i>	17	12	47	44	28	27
<i>Оставить на месте</i>						
<i>Затрудняюсь ответить</i>	81	82	31	37	57	59
	1	2	3	3	7	4
<i>Всего</i>	100	100	100	100	100	100

Коэффициент Крамера 0,36 $p < 0,000$.

историческая политика и учреждения — хранители культурной памяти. Их потенциал питается иссякающим ручьем коммуникативной памяти и активности, уходящих в мир иной свидетелей. Легко разжечь «войну памяти», особенно в отношениях международных, двусторонних, когда в перспективе «долгой истории» обе стороны испытали множество конфликтов. Такую ситуацию мы видим не только в польско-российских отношениях, но и в польско-немецких. У нас есть много свидетельств того, что поляки не хотят польско-российской войны памяти, а также восприимчивы и открыты для жестов примирения. В условиях демократии есть место для институционализации многих коллективных памятей, однако, необходимо помнить, что уходит поколение очевидцев событий Второй мировой войны, а его голос — коммуникативная память — угасает. Следующие поколения будут уже поколениями учебников и медийной памяти об этом самом трудном общественном опыте XX века. Как исследователи общественного сознания и культуры, мы также ответственны за институциональное построение коллективной памяти, заполнение в ней белых пятен и освобождение от отбросов токсичных идеологий.

Литература

Aleida Assmann (1998) Między historią a pamięcią / Pamięć zbiorowa i kulturowa // Współczesna perspektywa niemiecka. Universitas, Kraków, 2009.

Aleida Assmann. Formy i przemiany pamięci kulturowej / Pamięć zbiorowa i kulturowa // Współczesna perspektywa niemiecka. Universitas, Kraków, 2009.

Marek Getter. Straty Ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim. BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej NR 8-9/2004. Oraz na podstawie informacji, dokumentów i relacji, znajdujących się w posiadaniu Fundacji «Polsko-Niemieckie Pojednanie». Fundacja «Polsko-Niemieckie Pojednanie», 2009.

Pierre Nora, «Czas pamięci», przeł. Wiktor Dłuski. Res Publica Nowa, 7, lipiec 2001.

Pierre Nora (1984) *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire*. Representations 26, spring 1989.

Polskie i niemieckie kultury pamięci w historii longue durée. Nowe podejście do dziejów stosunków polsko-niemieckich // Patrz: http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=21&lang=pl

Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte (2009) Reader dla Auterek i Autorów artykułów na temat polsko-niemieckich miejsc pamięci wydanie czwarte.

Raport o stratach wojennych Warszawy (2004) Warszawa: m.st. Warszawa.

Zbrodnie okupanta w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku (w dokumentach). Wydawnictwo MON, Warszawa, 1962.

Культурная память в качестве определяющего отношения поляков к россиянам

Войцех Полец*

Аннотация

В этой статье представлены некоторые результаты исследований, по отдельным аспектам, касающимся отношения поляков к россиянам и истории отношений между Россией и Польшей, проведенных Гуманитарным факультетом Варшавского сельскохозяйственного университета в январе 2010 года. В этих исследованиях мы сосредоточились на тех вопросах польско-русских отношений, которые кажутся сложными и продолжают оказывать влияние на отношения между Польшей и Россией. Катастрофа президентского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года стала поводом для того, чтобы в опросе общественного мнения в мае 2010 года повторить некоторые из вопросов, которые мы задавали в январе 2010 года¹.

В статье представлены результаты исследований по источникам знаний поляков о России и россиянах. Рассуждая о факторах, влияющих на имидж России и отношение поляков к России, мы используем категорию культурной памяти, предложенную Яном Ассманом и категорию опосредованного опыта Энтони Гидденса.

Основным тезисом этой статьи является попытка показать, что современное отношение поляков к России формируется в большей мере под влиянием культурной памяти, чем оценкой нынешней ситуации отношений между Польшей и Россией. Одновременно мы пытаемся показать, что динамику изменений в отношении поляков к России можно объяснить как воздействием современных событий в России и Польше (или, скорее информации, которую поляки получают в средствах массовой информации), так и типичной для Польши конкретной формой культурной памяти, которая является важной частью национальной тождественности поляков.

Память «из вторых рук»

Энтони Гидденс (Гидденс, 2001) указывает на то, что большая часть человеческого опыта опосредована. Основным механизмом для приобретения опосредованного опыта является социализация, с помощью которой мы осваиваем язык и культуру в целом, а она определяет нашу память, как в индивидуальном, так и коллективном объеме. Тем не менее, Гидденс делает акцент на то, что «современные» общества все более получают опыт посредством письма и средств массовой информации, которые его используют, а в настоящее время также с помощью изображения и визуальных средств массовой информации, в первую очередь через телевидение. Согласно логике Гидденса наша память, а

* Войцех Полец, гуманитарный факультет, кафедра социологии, Варшавский сельскохозяйственный университет.

¹ Исследования проводились в январе-феврале 2010 года, опрос проводился методом стратифицированной случайной репрезентативной выборки поляков с использованием метода компьютерного интервью, N = 1015 человек.

также индивидуальная память, формируется не столько на основе собственного опыта, сколько через опосредованный опыт. Это создает широкую основу для размышления в категориях культурной памяти, которая здесь может быть рассмотрена как индивидуальная и коллективная, поскольку она производится в ходе социальных процессов.

Гидденс фокусирует внимание на способах создания личности в современном обществе, но его подход создает также рамки для рассмотрения личностей «коллективных», в том числе национальной тождественности, на которой сосредоточен анализ, проводимый в категориях культурной памяти, предложенных Яном Ассманом (Ассман, 1995, 2008).

Проводя различие индивидуального опыта и памяти, мы можем заключить, что память представляет собой запись опыта. Используя простую аналогию, можно было бы попытаться провести рассуждение о том, что личная память является записью индивидуального опыта, а коллективная память — записью коллективного опыта. Следуя этой логике, можно было бы сделать дополнительное предположение, что эти элементы коллективного опыта, которые оказываются устойчивыми и значительными для данной общины, превращаются в ресурсы культурной памяти. Такая аргументация, однако, была бы значительным упрощением, поскольку, как показывает Гидденс, ресурсы личной памяти (записи личного опыта) не только содержат элементы коллективной памяти (опосредованного опыта), но они в значительной степени ею создаются.

Обратная связь между индивидуальной памятью и коллективной и культурной памятью, кажется еще более сложной, если мы сделаем предположение, что, говоря о коллективной памяти, мы будем подразумевать больше, чем просто генератор индивидуальных памятей. Опять же, категория опыта может оказаться здесь полезной. Коллективная память производится за счет накопления индивидуального опыта, но не путем его простой агрегации. Это закономерность, которую, как нам кажется, можно показать на примере каждой культуры. Естественно, это зависит от принимаемого определения культуры, но, если такое определение будет включать передачу ресурсов знаний, полученных на основе опыта, то окажется, что оно всегда будет содержать некоторые элементы сверхиндивидуальной памяти, определяемой как знания, полученные не только посредством личного опыта, но также на основе опыта других субъектов, в том числе опыта предшествующих поколений. Другой вопрос: должен ли каждый индивид в данной культуре иметь данный объем знаний, чтобы говорить в этом случае о коллективной памяти, что является одним из аргументов, выдвигаемых против категории коллективной памяти.

Давайте посмотрим на определение коммуникативной памяти по Яну Ассману: «Коммуникативная память включает в себя активную память (воспоминания), а также опыт живых поколений, которые передаются через интерактивные взаимодействия, но неформальным способом, в виде обычного устного общения: семейной информации, дружеских разговоров между поколениями» (Траба, 2008. С. 13). Определение в большой степени напоминает определения социализации или инкультурации, при этом указана ключевая роль опосредованного опыта в создании человеческих культур. Однако здесь мы не продвигаемся вперед в понимании проблем культурной памяти.

Давайте сделаем следующий шаг в рассуждениях о проблеме социальной передачи опыта и произведенных на его основе знаний. Эта проблема может быть локализована на пересечении между первичной и вторичной социализацией. В одной из наиболее часто цитируемых социологических работ «Социальное конструирование реальности», Бергер и Лукман пишут: «Можно представить себе общество, где по окончании первичной социализации больше не будет никакой социализации. Конечно, такое общество должно было бы иметь очень простой запас знания. Все знание было бы общепризнанным и релевантным для всех с несколько различными перспективами на него у разных индивидов. Хотя такая конструкция полезна для определения крайнего случая, мы не знаем ни одного общества, где бы не было хотя бы какого-то разделения труда и соот-



ветственно хотя бы какого-то незначительного социального распределения знания, а в таком случае вторичная социализация становится необходимой» (Бергер и Лукман, 1983. С. 214). Этот аргумент, предполагая роль «опосредованного опыта» в формировании личной памяти, которая понимается здесь как ресурс социально-значимых знаний², обращает внимание на разнообразие передачи знаний в рамках данного общества, то есть на разнообразие индивидуальных памятей в каждом обществе, которое имеет, так сказать, социоструктурную основу. Даже в относительно мало расслоенном обществе, знания не передаются в полном объеме всем членам данного общества, но распределяются в зависимости от социальных ролей, которые Бергер и Лукман связывают с разделением труда. Оправданной будет здесь констатация, что дифференциация знания будет расти вместе с ростом социальной дифференциации. Мы здесь пока не рассматриваем и не делаем каких-либо предположений относительно институциональных особенностей при производстве и передаче знаний.

Подобные рассуждения могут нам помочь отметить две закономерности. Одна является их прямым следствием и через рассмотрение специфики роли письма (а затем других коммуникационных технологий), прямо к рассуждению Гидденса о значении опосредованного опыта и экспертных систем в современном обществе и их значении в формировании коллективной и культурной памяти. Вместе с ростом социальной дифференциации будет расти дифференциация знаний и памяти, таким образом, будет повышаться также значение опосредованного опыта в формировании индивидуальной памяти.

Вторая закономерность влечет за собой расширение поля этих рассуждений. Предполагается, что не только различия, связанные с разделением ролей и разделением труда, в узком смысле, могут генерировать различия в ресурсах знаний, а, следовательно, и различия в объеме и форме памяти. С помощью наблюдения за классовыми различиями в передаче опыта это рассуждение приведет нас к теории Бурдьё и его категории габитуса, культурного произвола и культурного капитала, то есть к проблеме различения знаний и памяти в данном обществе в результате культурных различий (Бурдьё и Пасерон, 2006).

Здесь мы приблизимся к вопросам обеспечения интеграции и/или сплоченности сложного, многообразного современного общества, в котором эти проблемы могут быть обозначены как проблемы формирования национальной тождественности (Ле Гофф, 2007). Эта закономерность может быть выражена следующим образом: чем сложнее социальная система, тем больше нужны механизмы, которые обеспечат его сплоченность на уровне общественного сознания, тем больше будут нужны коннективные структуры. Таким образом, мы переходим к теории культурной памяти Яна Ассмана.

Понимание вторичной социализации у Бергера и Лукмана не обязательно подразумевает существование в данном обществе специализированных органов для создания и передачи знаний, таких как наука или системы образования. Вторичная социализация касается передачи «специальных знаний», то есть знаний, которые возникают в результате разделения труда и которые «носители» приобретают институциональным путем (Бергер и Лукман, 1983. С. 215). Мы подчеркиваем этот факт, поскольку он представляется особенно важным в контексте дискуссии об определении границы между индивидуальной и коллективной памятью. Он показывает, что целые области памяти могут передаваться достаточно стабильно только среди определенной части данного общества. Те же рассуждения, конечно, могут использоваться в качестве аргумента против категории коллективной памяти, если мы предположим, что ее определение включает в себя только знания, доступные всем членам данного общества. Такое понимание коллективной памяти сделало бы эту категорию, если не пустой, то очень убогой. Ресурсы

² Обратите внимание, что здесь не включены, даже в гипотетической модели общества без разделения знаний, возможности существования разнообразного опыта личности и все эти вопросы, которые рассматриваются психологией по отношению к памяти.

коллективной памяти были бы в этом смысле ограничены до такой степени, что они стали бы практически бесполезными. Категория коллективной памяти имеет смысл, только если мы поймем ее как ресурс знания, которое доступно в данном обществе, хотя не обязательно равномерно распределено.

О социальном характере «специальных знаний» свидетельствует факт, что они косвенно доступны каждому члену общества через «экспертные системы», которые в них существуют, и такие экспертные системы могут создавать «упрощенные» формы знания для использования их «непосвященными» людьми, то есть теми, кто не выполняет связанных с ними ролей³. Анализируя место знаний в современном обществе, Гидденс в своих замечаниях идет дальше, заявляя следующее: «На самом деле специализация является сущностью современных абстрактных систем. В принципе, знания, которые представляют собой современные формы экспертизы, доступны всем, кто только имеет достаточно ресурсов, времени и энергии, чтобы их получить. Тот факт, что все, что может достичь индивид, это быть экспертом на одном или двух небольших участках современных знаний, означает, что для большинства абстрактные системы остаются непроницаемыми» (Гидденс, 2001. С. 44). Для Гидденса это важно из-за роли доверия, которое мы должны проявлять к экспертным системам, чтобы иметь возможность существовать в современном мире. Его соображения показывают также, что знания, природа которых является, несомненно, социальной, не могут быть одновременно доступны в полном объеме для всех. Этот вопрос, конечно, шире, чем вопрос о памяти, однако показывает, что коллективная память не должна рассматриваться только как метафора (см., например, Траба, 2008. С. 11–12; Нияковский, 2008. С. 19).

Экспертные системы немислимы вне письма, но большинство исследователей, начиная с Гидденса, Гуди и Ле Гоффа и, заканчивая Ассманом (назовем здесь лишь некоторых) подчеркивают роль изобретения письма, соответственно в формировании опосредованного опыта и индивидуальной и коллективной памяти. Гидденс видит в изобретении письма начало целой последовательности изменений, которая была усилена (частично модифицирована) последующими новшествами, начиная с письма, затем создания печати, радио и телевидения. Сегодня к этой последовательности можно также добавить Интернет. Все они приводят к тому, что опосредованный опыт становится все более важным. Это он все больше формирует наши знания, наш опыт и память.

Второй важной институцией, которая увеличивает роль опосредованного опыта в нашем целом опыте, а, следовательно, и в наших ресурсах памяти, является разработка систем образования, главная и явная цель которых заключается в передаче опосредованного опыта. Это не место для обсуждения путей создания опосредованного опыта в образовательных системах. Можно, однако, сказать, что передача опосредованного опыта является одной из основных функций образования. Таким образом, формальное образование влияет на наши ресурсы памяти.

Если мы учтем значение экспертных систем, таких как средства массовой информации и формальная система образования для приобретения индивидуального опыта, то окажется, что большая часть опыта является сегодня опытом опосредованным. Это приводит к тому, что наша память все больше имеет характер культурной памяти. И вновь используем ее определение Робертом Трабой: «[в случае культурной памяти. — прим. авт.] говорим о явлении воспоминания, которое выражает сознательное отношение группы к прошлому, встроенному в конкретную культурную область, передаваемому посредством различных форм социального общения: письмо, изображения, праздники, ритуалы и т. д. В отличие от неофициальной и не очень структурированной коммуникативной памяти, культурная память отличается более религиозным, символическим и даже абстрактным

³ Чаще всего экспертный опыт может приобрести «любой человек» также в процессе вторичной социализации, что укрепляет ее социальный характер. Опускаем здесь вопрос о доверии в использовании экспертных систем.



характером, а это значит, что ее создателями не могут быть отдельные индивиды, их роль должны взять на себя организованные институты. Они создают систему для построения групповой тождественности. В постмодернистском обществе это не только традиционные системы образования (школы, музеи) или церкви, но также большие консорциумы средств массовой информации. Таким образом, все, что является «прошлым», не только повторяется, но и актуализируется, делается более современным. Получается особое сознание «прошлого», зачастую отдаленное от реальных событий, но зато действительно служащее актуальным интересам» (Траба, 2008. С. 15).

На языке Гидденса можно добавить, что культурная память становится частью опыта отдельного человека, которая дает направление его деятельности, определяет его позицию, так как он становится частью ее тождественности. Используя метафорическую формулировку можно бы констатировать, что наша память становится все более памятью «из вторых рук». Это память, которую мы в значительной степени не создаем сами, которую мы наследуем, получаем в окончательной форме (иногда исправляем ее таким образом, чтобы она нам подходила), или как некоторые говорят, «покупаем».

Источники знаний о России: опосредованный опыт

Эмпирической иллюстрацией вышеизложенного могут быть данные об источниках знаний поляков о России из нашего опроса, проведенного в январе 2010 года. Полная версия вопроса звучала следующим образом: «У каждого определенные знания о различных странах. Где Вы находите информацию о России и россиянах? Просьба указать четыре основных источника». Респонденты имели в своем распоряжении готовый набор ответов, который был исчерпывающим перечнем возможных источников знаний. Может быть, состав был неполным, поскольку в нем не было интернета в качестве источника знаний о России и, следовательно, поэтому относительно большое число ответов указывало «другие источники» знаний о России. Это предположение, похоже, подтверждают исследования Квятковского, касающиеся памяти о Второй мировой войне, где в первую очередь молодые респонденты указывали на интернет как источник знаний о Второй мировой войне (в самой младшей группе (до 29 лет) интернет получил 45% ответов, в то время как в группе от 30 до 39 лет — 28%). Это не меняет основного тезиса, поскольку интернет также является источником опосредованного опыта. В этих исследованиях Квятковский подчеркивает роль устной передачи информации от свидетелей и участников событий (на том же уровне, что в нашем исследовании). Ограничение в исследовании Квятковского вопросов, касающихся поиска знаний о Второй мировой войне до прошлого года, привело к тому, что намного ниже доля людей, указывающих на школу и школьные учебники (24% ответов).

Вопрос отражает мнение респондентов, распределение оказалось интересным. Респонденты могли указать несколько, но не более четырех источников знаний о России, то есть могли указать довольно широкий круг источников знаний.

Из-за формулировки вопросов относительно непосредственного опыта, на самом деле, только ответы, касающиеся пребывания в России, можно рассматривать как непосредственный источник знаний об этой стране. Этот тип опыта представляет меньше чем 5 процентов (4,5%) ответов в нашем исследовании. Знания о России, безусловно, имеют характер опосредованного опыта. Если учесть, что вопрос был задан общим, немного метафорическим образом, и касался не только страны, но и россиян (если так это поняли респонденты), то к категории непосредственного опыта можно также отнести ответы, указывающие на прямые контакты с россиянами, проживающими в Польше и России. Однако, доля таких ответов, подобных ответам о пребывании в России, не является доминирующей тенденцией.

Остальные ответы можно рассматривать как свидетельство опосредованного характера знаний о России. Таким образом, представляется, что поляки по большей части

формируют свои знания о России и россиянах через опосредованный опыт. Здесь можно, однако, указать на значительные различия в области опосредованного опыта, о которых не говорилось выше.

Ответы о том, что источником знаний о России являются самые близкие родственники, включая родителей, бабушек и дедушек, составляют 35,5% ответов. Знания, передаваемые родственниками, носят, конечно, характер опосредованности, также как и знания о России как о стране, передаваемые россиянами, но имеют ту же специфику, поскольку полностью соответствуют определению коммуникативной памяти, предложенному Ассманом. Процент людей, которые указывают на коммуникативную память, является относительно высоким. Однако этот процент не соответствует количеству ответов, которые, несомненно, можно отнести к опосредованному опыту, который, по сути, и входит в рамки культурной памяти.

К этой категории можно причислить знания из школьных учебников, телевизионных программ и газетных статей, а также из фильмов и книг о России, написанных как польскими, так и русскими авторами. Они являются «медиатизированными» источниками на языке Гидденса, создаваемыми организованными институциями, что является частью определения культурной памяти у Ассмана.

Оказывается, что основным источником сведений о России являются школьные учебники, что указали 70,1% ответивших респондентов. Это подтверждает важность школьного образования в формировании культурной памяти, а также значение исследований, касающихся содержания школьных учебников. Однако следует заметить, что готовый ответ («школа, школьные учебники») звучал достаточно общо, что позволяет более детально взглянуть на информацию, получаемую в школе. Она состоит не только из чтения учебников, но и в непосредственном контакте с учителем⁴. Однако для рассуждений о культурной памяти это не имеет большого значения, поскольку содержание культурной памяти может передаваться не только в письменном виде, на что также указывает Ассман.

Похожая ситуация во второй по количеству ответов категории (58% ответов), в которой находятся печатная и телевизионная информация о России. С точки зрения исследований средств массовой информации эта категория определенно излишне широкая, поскольку здесь вместе и пресса, и телевидение, хотя известно, что использование этих средств массовой информации по-разному распространено в обществе. Таким образом, мы не знаем, сколько респондентов указали здесь на телевидение, а сколько на прессу. А в различных средствах массовой информации, какие программы они имели в виду. Для сравнения, в исследованиях Квятковского это наиболее часто встречающаяся категория (64,4%), которая также объединяет прессу, телевидение и радио. У нас нет доступа к данным, которые указывали бы подробное распределение в этой категории исследований Квятковского, хотя он дает подробную информацию о литературе, кино и даже песнях. В защиту этой аргументации мы можем сказать, что это вопрос о представлениях респондентов о видах источников, поэтому подробное различие может не иметь здесь столь великого значения. Важно здесь то, что именно в этой категории может быть представлена актуальная информация, полученная из программ и статей, касающихся России и событий, связанных с ней. Из этого следует, что данная категория источников может быть охарактеризована как динамика отношения к России и другим странам.

Следующей наиболее распространенной (41,5%) категорией источников являются польские фильмы и книги о России. Ответы этой категории могут быть четко отнесены к

⁴ Еще одним интересным вопросом, который мы, однако, не можем здесь развить, являются источники, которыми особенно сегодня пользуются ученики в школьном образовании. В дополнение к официальной передаче учителей и учебников, более важным источником знаний в школьном образовании становится интернет, которым все чаще пользуются ученики в процессе подготовки школьных задач (также на высших уровнях обучения). Это свидетельствует о смысле (если не необходимости) исследования ресурсов интернета, в том числе Википедии, таким же образом, как изучают учебники.



опосредованным источникам, которые являются носителями культурной памяти. В некоторой степени эта категория может совпадать с предыдущей, если означает и фильмы, которые транслируются по телевидению. В числе заданных ответов есть возможность указать на русские фильмы и книги, которые не получили достаточно многочисленных ответов (12,9%), но все-таки это существенная группа. Этот источник во многом близок польским фильмам и книгам, хотя означает более прямую информацию при меньшем влиянии польской точки зрения. Однако этот источник поляки ценят меньше (особенно младшие: 8,9% в группе до 34 лет и 11–21% в высших возрастных категориях). Но это также бесспорный опосредованный источник.

Следует разделить другие источники знаний на несколько категорий, которые связаны с непосредственным и опосредованным опытом. Ответы на этот вопрос были разделены на пять категорий. Первая из них касается непосредственного опыта, остальные — опосредованных источников знаний. Среди последних, мы выделили категорию, соответствующую коммуникативной памяти и две категории, соответствующие культурной памяти (школа и «медиатизированная память»). В пятой категории остаются другие источники знаний о России.

В первую категорию, «собственный опыт», то есть соответствующую индивидуальной памяти, включены только ответы, свидетельствующие о получении знаний о России во время пребывания в России, следовательно, эта, как мы видели, небольшая категория остается неизменной. То же самое относится к категории «другие источники», которую оставим без изменений.

В категорию «коммуникативная память» попали ответы, касающиеся получения знаний о России в семье, а также от родственников, проживающих в России и ответы о получении знаний от россиян, проживающих в России и в Польше. Источники знаний в этой категории непосредственно связаны с определением коммуникативной памяти Ассмана.

Остальные две категории соответствуют определению культурной памяти Ассмана. В отдельную категорию оставляют знания, полученные в школе и школьных учебниках, которая, как мы помним, была наиболее часто упоминаемой нашими респондентами. Еще одна категория включает знания, полученные через средства массовой информации, на этот раз без разделения на польские и русские фильмы и книги, а также на телевизионные программы и газетные статьи о России. Таким образом, это самая широкая категория, которая совмещает различные источники опосредованного опыта типичного для современного общества, за исключением опосредованного опыта, основанного на прямых отношениях.

Следует помнить, что респонденты могли дать четыре ответа, касающихся источников знаний, следовательно, указания не составляют в сумме 100%, график показывает процент ответивших. Декодированное распределение ответов показывает, что некоторые респонденты, указывая более чем один источник знаний о России, давали ответы, которые после декодирования находились в той же категории.

На данном этапе у нас нет возможности провести более широкий анализ. Однако на основе представленных данных можно попытаться сформулировать некоторые выводы.

1) Представляется, что уменьшается роль коммуникативных источников в пользу знаний, получаемых посредством письменных источников (учебники, книги, газеты) и посредством других видов средств массовой информации. Благодаря этому восприятие России все чаще опосредовано культурной памятью с очень низким уровнем прямых взаимных контактов (введение виз для граждан России и Польши, конечно, не содействует установлению контактов, что мне известно по собственному опыту).

2) В рамках опосредованного опыта видно большое разнообразие экспертных систем, которые могут оказать существенное влияние на использование ресурсов культурной памяти и на представления поляков о России и россиянах.

3) Результаты нашего исследования свидетельствуют о важной роли системы образования институционально передаваемого опосредованного опыта в формировании знаний о России.

4) В то же время, значительной представляется роль «современной истории», т.е. той, которая формируется средствами массовой информации. Стоит подумать об их роли в формировании «прямой передачи культурной памяти».

Литература

Assmann Jan. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Redakcja: Robert Traba // Tłumacz: Anna Kryczyńska-Pham. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Assmann Jan. Collective Memory and Cultural Identity. *New German Critique*, 1995. Pp. 125–133.

Berger Peter L. Thomas Luckmann. Społeczne tworzenie rzeczywistości // Tłumacz: Jyżef Niżnik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Bourdieu Pierre, i Jean-Claude Passeron. Reprodukacja. Elementy teorii systemu nauczania // Tłumacz: Elżbieta Neyman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Giddens Anthony. Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i tożsamość w epoce późnej nowoczesności // Tłumacz: Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Le Goff Jacques. Historia i pamięć // Tłumacz: Anna Gronowska i Joanna Stryjczyk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Traba Robert. Wstęp do wydania polskiego. Pamięć kulturowa – pamięć komunikatywna. Teoria i praktyka badawcza Jana Assmanna. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Jan Assmann, 11–25. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

Historical trauma and memory: the case of the Afghan war

*Mikhail Chernysh**

Abstract

Historical memory is a social phenomenon resulting from a merger of individual and social discourse. The state, civil society and mass media contribute to its formation. The case is exemplified in the historical memory trends related to the Afghan war that the Soviet Union waged from 1979 to 1989. The war suddenly came to public focus in response to the Russian blockbuster «The Ninth company». The examination of the movie and the public campaign to promote it revealed that it was specifically used to alleviate the traumas of post-Soviet wars. The state played a major role in promoting it, but the interference of the media and the veterans of the war provided for a mixed effect on public consciousness.

The theoretical approach: identity construction in a changing society

The phenomenon of historical memory is a product of two components — history that describes the life of nations or other large entities such as Europe or Asia and memory that is locally or even individually embedded and implies retention and a more or less consistent orderly placement of past events. The order and consistency of historical memory is generated through a merger of individual and social discourse. Historical memory concurs with other similar products or collective reflectivity — oral history or collective memory. Historical memory differs from the two by prioritizing events in line with their relevance and political importance. It is but natural that historical events have a varying degree of influence on individual lives, but big events are always transcendent in respect to an individual, their effect is pondered and evaluated regardless of a degree of individual involvement in them. The potential for historical memory to influence attitudes and values is inevitably placed at the center of political maneuvering with involvement of the state and its representatives, political parties, minorities and other groups with vested interests. The political aspect of historical memory manipulation is well described by the French sociologist A. Thiess in her article on the contemporary French historical controversies. (Thiess, 2010) With the coming to power of M. Sarkozy the French state made an about turn in its treatment of history and its efforts to explore the recent past. The State became a sponsor of policies aiming to unify the nation and imbue it with patriotic feeling of pride over its past. This led to pressure on historians to blur their vision of certain periods and events of history and press forwards other events. The idea of nationwide solidarity demanded that some parts of history be placed in the forefront and others pushed to the brim of public debate. The policy caused a wave of protests from the historians and predictably from ethnic minorities who suspected that new focus might undermine their claims to their own ethnic history. The uproar over the government's attempt to return to the «one nation — one history» approach was interwoven with a much subtler subject of national and ethnic identities. History

* Черныш Михаил, д.с.н., зав. сектором социальной мобильности ИС РАН, che@isras.ru.

and historical memory were urged to shed the guise of objectivity and become the obvious raw material for national identity construction. Common national identity has always been and remains now an important attribute of a modern nation — the only basis, cause of development and purpose of social and political development that guarantees satisfaction of needs of all citizens in production and distribution of resources. (Smith, 1998) National identity is a symbolic representation of the nation and a way of axiomatic justification of many existing norms and values. It is hard to explain to a soldier who lives in the northern part of a country why he should serve in the southern part unless he is aware that the population there is «his people» and the history of the region is part of the overall history of «his people» and «his country». It might be hard to convince the rich to pay a large part of their income in the form of taxes unless they accept that fact that they have to share their wealth with their brethren and contribute to their country's development. The representations are instrumental in unifying the nation, this is the rationale that guides the policies of the French government. The necessity to construct a unified national identity becomes even more of a necessity in the times crisis when the role of the national state rises and the role of international organizations tends to shrink. The more the European and other nations felt the impact of the crisis, the more they stressed the importance of national identity building and national history reconstruction.

The Russian Federation met with the same set of problems, but their urgency for the Russian state was even greater. Russia is a fairly new state that emerged as many other states in the Eastern part of Eurasia as a result of the disintegration of the Soviet Union. The Soviet state had a large measure of control over the process of identity construction and tended to use only those events that bespoke of the glorious onward march of socialism. The socialist revolution, the civil war that followed it, industrialization and collectivization, the victory in the Second World war, launching of the first man into space — all these events were seen as underlying the identity of the Soviet man. The Russian Federation emerged as a result of the Soviet Union's inglorious collapse and there were few elements of the old identity that it could import directly into the new one. In the context of the defeat of the so-called real socialism it was not longer possible to use revolution or socialist achievement themes as a basis for national solidarity. Only a war or wars, to be precise, could be addressed to as a source of national inspiration in an age of diminished ideological resources. The second world war was recognized as one event that a) is an indisputable instance of national glory, b) a struggle in which Russia and countries of the West fought together against evil forces of oppression, c) a fight that liberated nations of Europe and Asia enabling them to sustain national existence. The preservation of the War memory became so important that the Russian authorities set up a special commission that was entrusted with the task of dealing with any possible falsifications of history, the history of the Second World War *prima face*. The commission's defined its objectives as «analysis and summarizing of information on the falsification of history of the Russian Federation purporting to diminish its international prestige» and «elaboration of policies to counteract falsification of the history of the Russian Federation detrimental to the interests of the Russian Federation»¹. The presidential commission was to sit in session twice a year, and that sheer fact meant that only falsifications that could be regarded as «gross» could become part of its agenda.

It explains in part why the commission was inactive when a new historical clash occurred, this time over a textbook for students of the historical department of Moscow state university. The textbook written by two MSU professors Barsenkov A.I. and Vdovin A.S. attempted to portray the history of the 20th century Russia in ethnic terms as a history of relations between ethnic Russians and other nationalities inhabiting the country. (Barsenkov, Vdovin, 2005) The ethnic angle led to a bias that was condemned by the Public chamber of the Russian Federation — an organ whose main task is to mediate between the state and society. The textbook was attacked by the authorities of the Chechen republic who claimed that the book disparaged the

¹ <http://archive.kremlin.ru/articles/216485.shtml>



Chechens by presenting them as a nation of traitors. They expressed an outrage that the data that portrayed the Chechens as deserters came from the unreliable sources — the archives of the NKVD (the Stalin's secret police). They also threatened to start legal proceedings against the two historians, arrest them and deport them to the Chechen republic where they might face criminal charges. The reaction of the Chechen authorities was predictable since for about a decade they had been trying to build up a new Russo-Chechen identity that met the aspirations of the federal authorities to create a new multicultural nation on the basis of existing panoply of ethnic cultures. The narrative of the MSU textbook dealt a heavy blow to these attempts and undermined the federal policies.

The criticism of the textbook caused a backlash from a group of public figures and social scientists who believed that pressure on historians was a return to the old times when only one viewpoint approved by the party could be voiced in public. Defending his colleagues, A. Nikonov, another professor of history of the MSU echoed the French historians: «You can write your own books on history if you do not like this one. Let them be conceptual, full of facts and other data. We shall evaluate them. We have the right to such an evaluation in the framework of scientific discussion»². Professor Nikonov questioned the very idea that there is only one possible treatment of history; he insisted that history ought to be a multicultural field of knowledge where each party had the right to voice its viewpoint and criticize its opponents. He suggests that the state and liberal mass media leave historians to do their job and iron their contradictions out in their inner circle. This call is likely to be left unheeded. In a country deeply divided into the prospering few and the impoverished many the authorities will continue to look to historians to create a unifying narrative. It is obvious that on the road to such a narrative the factual side of history will often be bent to fit the new line of thinking.

Wars, transition traumas and identity

It may seem the debate on the outcome of the Second World War, the clash between liberal and conservative historians is of little concern for ordinary Russian citizens. However there is ample proof that it is not so. The population of the country is still agonizing over the past and present traumatized by the passage towards the market and the loss of economic, social and cultural capital that occurred in the period of reforms. The concept of trauma was first introduced by J. Alexander and P. Stompka who used the metaphor to describe the painful process of adaptation that an ordinary citizen goes through in the period of transition from socialism to capitalism. (Alexander, 2004) Stompka claimed that a citizen of a socialist country was not only an individual repressed by the totalitarian system, he was also its product imbued with its norms and values. Transition to openness and market economy was likely for him or her to turn into a traumatic experience that relates practices to the transformation of the value system — from a set of values presupposing conformity and reticence to values of openness and individualism. There is however another side to the social trauma that has more to do with psycho-history and stereotyping than with flexibility and change. The trauma can also be regarded in Durkheimian terms — as a pattern of relations between an individual and society. E. Durkheim elaborated a theoretical foundation for an understanding of this subject in two of his works — «Suicide» and «Elementary forms of religious life». In «Suicide» he called for the recognition of suicide as a regular social phenomenon that could serve as an indicator of the state of social order. There is a possibility that under certain circumstances an individual finds him or herself in a state of anomie. Anomie is tantamount to alienation from society and its basic values. It can occur in situations when an individual has to relate to a social milieu that is different in terms of norms and values from the one to which he or she belonged in the past. Durkheim outlines two ways in which such an estrangement may take place migration and social change. Migration is an obvious case of intercultural mobility: an individual seeking to better his or

² <http://www.apn.ru/publications/article23159.htm>

her life chances or escape a repressive regime finds him or herself in a strange cultural environment infused with meanings difficult to comprehend. He or she has an apparent problem linking him or herself to others, suffers from loneliness and tends to regard his or her conditions as critical.

The other case if exemplified by a society in a state of flux. In this case Durkheim holds an individual constant. It is society represented by an institutional structure that drifts away from an individual leaving him or her in an axiological quandary. In this case as in others suicide is extreme, though typical response. More often an individual resorts to what N.Smelser defines as psychological defense strategies. The first of them is denial. An individual facing a threat of exposure chooses to deny what he or she has done, refuses to admit that a crime or some other shameful deed has been committed. Cultural defense mechanisms work in a way that is similar to individual reactions. The authorities, mass media or public opinion decline to accept responsibility for acts committed against other countries or inside the country against certain «culprits». It is not infrequent that the mass media join the authorities to deny acts committed against other countries or, for that matter, against certain «targets» inside the country. The second strategy presupposes that process of rationalization. Some actors make a deliberate effort to argue certain moments of the current situation presenting them as natural, unavoidable and even desirable. In this way an act of aggression is camouflaged as an act of defense or trespassing caused by the sheer logic of the situation. The third strategy is often characterized as projection: feelings of guilt or remorse make the perpetrator of a crime and other ungainly act seek justification for it in a larger context. In a societal discourse projection reveals itself in the desire to portray a certain situation as «common», «repeating itself in other countries» or «culturally and historically determined». The fourth vector of coping with a trauma can be defined as sublimation. In a cultural context sublimation is also quite common, though rarely identified as such. It is in most cases a replacement of the feeling of guilt by portrayal of the situation as a case of martyrdom. There is long standing religious tradition of using martyrs to justify whatever acts that were committed by them in the past.

Post-Soviet war traumas: the inevitable present

The post-Soviet history abounds in traumatic experiences, but the experience that keeps having both long and short term effects was the first Chechen war (1994–1996). The Russian army was in disarray in the wake of dramatic reforms when the president Eltsin ordered it to restore the constitutional order in the secessionist republic. At first the government tried to achieve its goals by a covert operation. The Russia army officers and soldiers were sent into Chechnya in the guise of local forces ostensibly fighting to help the local parliament disbanded by the nationalists. The operation ended in disorganized defeat of the Russian Federation forces, many soldiers and officers were captured and made public confessions in the presence of Russian and foreign TV cameras. They revealed that they had been sent across the border as part of a covert action to overthrow the secessionist general Dudaev and restore Chechnya's ties with Russia. The second stage of the drama came when the Russian army entered the republic in full force. The Russian military leaders claimed that the strength of the Russian forces was such that it could «defeat the rebels by one regiment of paratroopers». However, the reality of the Chechen resistance belied such brash claims. The Chechens secessionists led by former Soviet officers well trained in guerilla warfare put up stiff resistance to federal troops. The army suffered terrible losses and, in its turn, inflicted heavy casualties both on the guerillas and civil population. The memoirs published after the war reveal a feeling of utmost disappointment of the part of officers or soldiers who participated in the march on Grozny in 1994. V. Mironov, author of a novel describing the storming of Grozny, sums up the feelings of the soldiers and officers.

«Their Power lets them push the youth to die for their old ideals and, after having satisfied their thirst for blood, they'd be stealing again left, right and forward whatever's left there. We,



officers, the witnesses of their madness, are pretty much done too. They'll do to us what they did to the veterans of the Afghan campaign. They'll portray us as idols, and then would demote us to the status of drunks and drug junkies. Those vets are now officially murderers that had gashed off peaceful Afghan population unable to take on a decent force. Now they're shut out, blamed for everything. Their official diagnosis the "Afghan syndrome". Jesus, how many more of those "syndromes" they've forgotten to mention. Every hotspot is another "syndrome". Too many, if ask me, even for such large state like Russia»³.

It is at this point the battle in Chechnya starts invoking memories of the war fought by the Soviet Union in Afghanistan. The Afghan war lasted for ten years and ended in an inglorious withdrawal, the veterans of that conflict shown up by the Russian media as occupiers waging a war against civilians. The character of the novel, a young Russian officer, feels deeply injustice done to him and other Russian soldiers. He realizes that they are being used, their lives are being wasted, and after the war they would face a life in which they would hardly find peace. In the context of the Chechen war the soldier and the state came to be at odds with each other:

«Because your government sent you into this butchery and then, chucked you out, the still living ones as well as all the dead. It has bedamned and forgotten you. There was nothing there. All this was your paranoid hallucination caused by the posttraumatic syndrome and multiple concussions. But don't you worry. We'll fix you up in the mental home in about five years, come on in. Whatever remains of the army, we'll disperse and downsize, so that they don't tell anybody anything and debate our actions. Same as witnesses after a crime, they'll remove the military after each of their "salvaging operations". Like they did after Afghanistan, Germany, and so on. Because they knew for sure, the Army can turn around and see that the real enemy is right here in Moscow»⁴.

As captain Mironov predicted the war resulted for many in a post-traumatic stress syndrome, the soldiers of the war came back not only with painful memories but with traumatic experience of post-war adaptation:

«"Fire! Smoke cutting my eyes. The APC is burning. I am burning! Cartridge boxes bursting. Must get out, jump now! I can't! My legs! My legs are caught! I am burning!!! The pain!!! No!!! Harley! Harley, you fucker!!! Pull me out!!! Can't stand any more!!!"

"Den! Den!"

I sit bolt upright on the bed. At home. The sheet is wet, I am wet too. I'm drenched in sweat, damn it.

"You're keeping me awake again. You're shouting in your sleep"

It's my brother. We share a room. He hasn't had a quiet night since my discharge. Unless you count the nights when I don't come home. But that isn't often.

"Sorry, Serge"

"It's OK.."

I go to the bathroom, put my head under the tap. I don't want to sleep any more. I wouldn't sleep at all if I had the choice. Mum asks why I drink so much. 'Cause I don't dream when I collapse drunk, that's why»⁵.

Case of projecting

P. Stompka views trauma as inevitable concomitants of transition to what is a «natural order» — democracy and a market proven to be the most effective way of running a complex economy. In most East European states there was little choice but to streamline economies in accordance with the demands of the European Union and make a painful but short leap towards a capitalist future. The change relied on the «sacral» that incorporated perceptions of Europe as their true identity that would one day replace the false identity of state socialism and

³ http://artofwar.ru/m/mironow_w_n/text_0180.shtml

⁴ *ibid.*

⁵ http://artofwar.ru/b/butow_d/dreams_eng.shtml

alliance with the Soviet Union. The European identity was bolstered by activity of the prosperous private sector of local economies, local intellectuals, the Church, and memories, still recent, of the past when these countries had been the still waters of «large Europe».

In the Russian Federation the perception of the past and its relations to the present was more controversial. The «sacred» of the Russian mind incorporated achievements and breakthroughs of the socialist period — industrialization, eradication of illiteracy, development of world class science and ultimately creation of a superpower. The liberal criticism of the past presenting it as a period of repression and loss was itself inconsistent and controversial: rejection of the repressive policies was conducive to a more lenient evaluation of the pre-revolutionary period full of repressive practices, corruption and loss. The arguments against the Soviet past began to look even more dubious in the light of losses sustained by the Russian Federation in the period of transition. The period had none of the advantages of the transition in other former socialist states that resulted in their reunification with Europe or, as in China, in high rate of economic growth. Comparing the Russian reforms with the way reforms were pursued in other countries M.Burawoy rightly qualified them as a failure. (Burawoy, 2000) It was obvious that coping with a failure became a task of utmost importance for the Russian ruling elite: its response was a cultural policy that conducted a critical reevaluation of the past with reliance on proven defense mechanisms — denial, projection and rationalization. This policy dictated the necessity to deal with the trauma and humiliation of the Chechen wars and at the same time discredit the Soviet past as a period no less traumatic than the present. It is with these goals in mind that the movie «The Ninth Company» was manufactured and presented to mass viewers.

The movie set out to highlight a tragic event of the Afghan war — the heroic resistance and destruction of an entire company guarding a pass in the mountains that the Soviet army was supposed to use to withdraw from Afghanistan. To a great extent the movie copycats classical American movies — «Apocalypse Now», «Platoon», «Rambo». Its narrative goes through stages from an early part that describes the training of Russian soldiers prior to their overseas mission and ultimately to a final battle against the overwhelming enemy in which all of them lose their lives. The narrative intermittently stops to put up flashbacks of the soldiers' life before their conscription into the ranks of the Soviet army. That life is described realistically as a train of events with loves and hatreds, hopes and disappointments. In each soldier's life there is hardship, conflict and promise as should be in the life of any young man in a country that is officially at peace with other countries. The draft tears them apart from the context of their previous lives and claims from them qualities that they have not been able to develop. Their individualist self-centeredness has to be replaced with collective solidarity; their joint survival now depends on their ability to quickly learn to act in a concerted way. There is a kulturtreger on the scene who ruthlessly leads the conscripts to a desired outcome — sergeant who in a matter of weeks prepares them to fulfill the mission and save their brethren. The enemy is portrayed with a wide brush — as an anonymous, cunning and ruthless force that declines to accept the Soviet soldiers as human beings and therefore does not deserve to be treated as ones (Picture 1).



Picture 1. A snapshot from the film «The Ninth company»: the attacking enemy. In the first row the commanding officer with «western attributes» (black-spectacled), obviously trained by western instructors.



Towards the end the movie runs to its climax. Early in the morning on a bright sunny day when the Soviet army prepares to evacuate from Afghanistan, the ninth company to which the soldiers belong is attacked by a well-trained kamikaze unit of the mojaheddin or «spirits» as were called by the Soviets (the same word came to be used in the Chechen war to describe separatist guerrillas). Enemy fighters swarm to the height occupied by the company, the soldiers have to fight back, but their ability to put up resistance is undermined by a breakdown of communication link with the headquarters and lack of support from other units. The battle ends with a total destruction of the company, only one of its soldiers goes through the carnage alive. Assistance comes too late; the survivor learns that during hasty preparations of withdrawal the commanding officers forgot about the company condemning them to die at the hands of the rapacious enemy (Picture 2).



Picture 2. A snapshot from the film: the only survivor of the Ninth company: assistance came too late.

The film provoked a lively and sympathetic reaction from many quarters. The President of the Russian Federation V. Putin invited its director F. Bondarchuk to visit him, praised the movie and watched in a rather public demonstrative manner.⁶ Other politicians came up with favorable comments calling it a «the right kind of film stressing patriotism». Ordinary Russian movie-goers, particularly of the young generation assessed the movie as one of the best products of the Russian film industry that «showed the way it happened». The chorus of positive evaluations came up against harsh criticism from those who knew quite well what exactly happened to the Ninth company and how in reality the battle was fought. The influential blogger and movie interpreter Goblin claimed that the film script ran counter to the facts that described the last battle of the Ninth company.⁷ In fact, he claimed, the company not only survived, but also inflicted heavy casualties on the attacking units. The TV channel «Zvezda» (The Star) capitalized the wave of interest to the film by making a four-part documentary on the battle and the war in Afghanistan called «The Ninth Company: the Truth». A large company of the documentary consisted of interviews with soldiers and officers of the Ninth company of the 345th Paratrooper regiment on a mission in Afghanistan. It appeared that the indisputable truth consisted in the fact that the company had fought a fierce battle on the height 3234 it was com-

⁶ Rossiiskaya Gazeta, Federal Issue, № 3919, November 9, 2005.

⁷ <http://kino.oper.ru/torture/read.php?t=1045689085>

manded to protect. However the course and the outcome of the battle sharply differed from the script of Bondarchuk's movie (Picture 3).



Picture 3. A snapshot from the documentary: captain Ivan Babenko, the real commander of the Ninth company 20 years later.

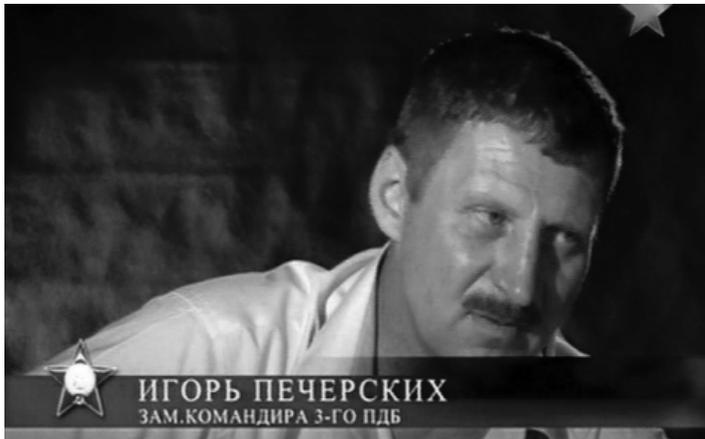
It appears that the headquarters of the special paratrooper regiment closely monitored all activities in the area of the Ninth company deployment. The communication with the Ninth company worked reliably and the news of the attack was immediately passed on to the commanding officers. Though the regiment could not rely on helicopter gunships to provide adequate assistance (mountainous area proved to be an obstacle), they called on artillery units to render support to the fighting unit. The commanding officer showed exceptional skill in guiding heavy artillery barrage: the enemy units were too close; any error on his side could be fatal to his own personnel. The machine-guns were well trained and throughout the battle kept enemy units under deadly fire (Picture 4).



Picture 4. A snapshot from the documentary: colonel Valery Vostrotin, then the commanding officer of the special 345th paratrooper regiment in Afghanistan: we knew what was happening and immediately commanded assistance to the unit under attack.



Dispatching a well-trained reconnaissance company of the regiment laden with munitions and food across mountainous terrain finally tipped the balance in favor of the Ninth company. The enemy stood no chance of surviving the pressure that came from two weathered, well-equipped units (Picture 5).



Picture 5. A snapshot from the documentary: Igor Pechersky, deputy commander of the Third paratrooper battalion: lethal fire came from 120 mm mortars that fired from the territory of Pakistan.

The battle lasted for 12 hours, the Ninth company assisted by the reconnaissance company repelled continuous attacks each time causing heavy losses in the ranks of the attacking units. The company suffered losses: 6 of its soldiers died in action (mostly at the initial phase) 28 were wounded, 9 of them received wound that were qualified as severe. According to Franz Klintsevich, propaganda instructor of the 345th regiment, the losses qualified as heavy by the standards of that particular war. In the ten years of their «international mission» in Afghanistan the Soviet army lost about 15 thousand soldiers and officers, a rather «sparing» number given the scale of the operation (the Russian troops extended their control to most of the Afghan territory) (Picture 6).



Picture 6. A snapshot from the documentary: Andrei Kuznetsov, senior sergeant of the Ninth company: during the battle he shouted anti-Islamic slogans that enraged the enemy and made «the spirits» concentrate fire on his part of the defense line.

The testimony of soldiers and officers of the Ninth Company make it obvious that the movie and the documentary spoke of wars that were in many respects different. The operation in Afghanistan was first unleashed as a standard military procedure of support for a proxy regime in the context of ongoing cold war. The septuagenarian Soviet leadership had few qualms about its possible outcomes could not possibly conjecture what the consequences would be for the army, the nation and the world. Quite soon it became clear that the operation of a limited scale was gradually turning into a major military conflict in which both the superpowers and their regional proxies would be deeply involved. However, when it became obvious that the war was to be a lasting undertaking, the Soviet leadership wary of possible internal discontent insisted that military kept personnel losses at a minimum. The Soviet army could rely on well-trained officers and advanced products of the national defense industries to put this policy into being.

The Russian wars were a different story. The two Chechen wars testified to the Russian leadership's brazen disregard for the lives of Russia citizens, steep decline of the Russian army followed by a drain of skilled officers from its ranks and mass draft evasion on the part of young men eligible for service. The shabby state of the Russian armed forces came to the notice of observers during Russia' conflict with Georgia in August 2008. The political leadership complained that it had to see the through the entire register of top rank army officers to find a single able commander who could lead the 8th army's march into South Ossetia.

Conclusion

The case of the Ninth company sheds light on the major factors that shape historical memory. There are four agents that have an influence on the outcome of the process. Firstly, it is the state that has a vested interest in constructing up a coherent positive narrative out of facts and episodes of national history. As Thiess showed, the state has the multiple means to put pressure on professional historians to comply with its like. One of the key resources that the state has at its disposal is funds that it provides for research projects including historical and archeological research, museums, erection and maintenance of monuments etc. The list of resources includes symbolic domination enhanced by the state or state-led propaganda and direct punishment for what could be qualified as «deviation from the positive line of history». A powerful instrument in the hands of the state is political correctness that is often used to discredit those who seek to widen the scope of the discussion by introducing «undesirable» subjects at variance with the official line. Secondly, it is the media that orient itself towards the consumer. Modern media seek out ways to provoke or shock their readers or viewers. New ways of looking at historical events is a common trick to pique the interest of the consumers and lure them into the audience. In authoritarian states or states where historical discourse is heavily influenced by political correctness, the media have to take heed of possible consequences of statements that run counter to the line endorsed by the state and/or vocal political minorities. Thirdly, the formation of historical memory comes under pressure from participants of relevant events, particularly in the case when they organize themselves into vocal political groups and set out to impress upon other agents their line of history. Fourthly, historical memory is influenced by civil society and intellectuals involved in running non-government organizations. It is these groups that often change public evaluation of history by introducing new dimensions of judgment.

The case of the Ninth company shows how the state and its bureaucracies attempt to veil their inefficiencies behind the curtain of pseudo-historical events. However the plan backfires because there are still many survivors of the Afghan war disgruntled not only by the way the state treats them now, but also by contemporary liberal trend to portray the entire Russian history as a sequence of failures and crimes perpetrated by the state. They have a vested inte-



rest in revising the liberal line and rebuilding the view of history as the «glorious past». As often happens in democratic or quasi-democratic states, the media play on both sides, the heat of historical debate lets them keep their audiences in a state of suspense. In the case the independent intellectuals took a critical stance manifest in their rejection of state-sponsored attempts to create «false historical consciousness». It is now increasingly evident that the policy of projecting the fundamental flaws of the contemporary Russian social and economic order into the past meets with stiff public resistance. The Ninth company is likely to remain a film that has been able to impress some of the younger viewers, but it is certainly will not be able to become a centerpiece of discourse on Soviet and post-Soviet Russian wars.

Literature

Alexander J. C. On the Social Construction of Moral Universals: The «Holocaust» from War Crime to Trauma Drama // *Cultural Trauma and Collective Identity* / Ed. by J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Geisen, N. Smelser, P. Sztompka. Berkeley: University of California Press, 2004, pp. 196–263.

Alexander J. C. Toward a Theory of Cultural Trauma // *Cultural Trauma and Collective Identity* / ed. by J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Geisen, N. Smelser, P. Sztompka. Berkeley: University of California Press, 2004, pp. 1–30.

Barsenkov A.I., Vdovin A.S. *Istoria Rossii. 1917 2004*. Moscow: Aspect Press, 2005.

Draaisma D. *Metaphors of Memory: A History of Ideas about Mind*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Halbwachs M. *The Collective Memory* / trans. F.J. Ditter and V.Y. Ditter. Introd. M. Douglas. London: Harper Colophon, 1950.

Hobsbawm E. and T. Ranger (eds) (1983) *The Invention of Tradition*. New York: Cambridge University Press, 1983.

Mizstal B. Durkheim on collective memory // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 3. 2003, pp. 123–143.

NVO. 24.04.2009. Kruglyi Stol: Chto Takoe Voennaya Reforma I Zachem Ona Nuzhna? Part 1.

Passerini L. (ed.). *Memory and Totalitarianism*. Vol. 1, *International Yearbook of OralHistory and Life Stories*. Oxford, 1992.

Smith A. *Nationalism and Modernism. A critical survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. L.: Routledge. 1998, pp. 53.

Sztompka P. *Cultural Trauma. The Other Face of Social Change* // *European J. of Social Theory*, 2000. 3(4), pp. 449–466.

Thiess. A. *Ispol'zovanie Natsionalnoi Istorii v Politicheskik Tseliakh* // *Sotsiologicheskyy Zhurnal*, 1, 2010, pp. 92–104.

Александр Дж., Смит Ф. Сильная программа в культурсоциологии // *Социологическое обозрение*. Т. 9. № 2. 2010. С. 10–21.

Травма-пункты // Под ред. С. Ушакина и Е. Трубниковой / М.: Новое Литературное Обозрение, 2009.

Штомпка П. Социальное изменение как травма // *Социологические исследования*. 2001. № 1–2. С. 10–26.

«Советский чердак» российской блогосферы: анализ ностальгических виртуальных сообществ¹

Роман Абрамов*

Аннотация

Статья посвящена исследованию феномена ностальгии по позднему советскому времени и основана на результатах наблюдений автора за жизнью ностальгического сегмента российской блогосферы. Теоретической основой работы являются концепции прошлого, коллективной памяти и ностальгии, развитые М. Хальбваксом, Д. Лоуэнталем, С. Бойм.

Л. Парфенов назвал первое десятилетие двухтысячных эпохой «ренессанса советской античности» — бессознательной тягой к атмосфере брежневского времени, когда еще были возможны имперские проекты при сохранении относительной стабильности, вскормленной нефтяными сверхдоходами (Парфенов, 2009). Нужно сказать, что интерес к позднему советскому времени действительно высок и начался еще в конце 1990-х гг.², когда сошло на нет увлечение имперской историей России. Объяснений массовой ностальгии по советскому несколько: это и разочарование в реформах девяностых годов, это и поколенческий фактор — сегодня на авансцену вышла генерация «последних советских детей», чье детство и юность пришлось на семидесятые-восемидесятые³. Не следует упускать и политические мотивы — мимикрия под официозную стабильность семидесятых стала определяющим стилем власти в уже уходящие в прошлое «тучные двухтысячные»⁴.

*Роман Абрамов, к.с.н., доцент кафедры анализа социальных институтов ГУ-ВШЭ (НИУ-ВШЭ), старший научный сотрудник отдела истории и теории социологии Института социологии РАН, e-mail: socioportal@yandex.ru.

¹ The research partially to this article was sponsored by Special Projects Office, Special and Extension Programs of the Central European University Foundation (CEUBPF). The theses explained herein are representing the own ideas of the author, but not necessarily reflect the opinion of the opinion of CEUBPF.

² «Рубикон, вроде бы перейденный, перейден еще раз — теперь задним ходом. Единство в ностальгии есть безрадостный признак: мы так ничего и не поняли». Новиков М. Ностальгия по СССР. Вспомнить все // Коммерсантъ. № 1 (1183). 31.01.1997.

³ Аудиторию ностальгии «составляет значительный тех жителей России, кто сегодня пребывает в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти-тридцати шести лет.[...] Эти возрастные рамки обуславливают еще один важнейший фактор: сегодняшним тридцатипятилетним россиянам в 1986-м году, то есть «на заре Перестройки», было пятнадцать-шестнадцать лет; сегодняшние двадцатипятилетние были в том возрасте, когда память детства уже отчетливо сохраняется. Этот возрастной промежуток — двадцать пять — тридцать шесть — описывает поколение «последних советских детей», — тех, кто в полной мере или хотя бы в перестроечном варианте застал «советское детство». Горалик Л. Росагроэкспорта сырка. Символика и символы советской эпохи в сегодняшнем российском брендинге // Теория моды, №. 4. С. 6–21.

⁴ Известный российский журналист А. Колесников пишет по этому поводу: «Власть неожиданно заговорила на каком-то мантрообразном диалекте. Обтекаемые выражения — почти что «зяби поднимаются», «страна встает с колен». По-брежневски «ударные места», адаптированные под бурные-продолжительные-аплодисменты-переходящие-в-овацию-все-встают-скандируют-слава-слава-ура. Взаимные здравницы друг другу



В последние годы поздний советский период оказался в фокусе интереса социологов, антропологов, историков, которые, кажется, не только изучают, но и с готовностью участвуют в ностальгических практиках.

Ностальгия является одним из ключевых феноменов современной истории культуры. Это связано с кризисом идентичности, провоцирующим к идеализации прошлого. В. Фишер полагал, что категория ностальгии может быть понята как метаисторический путь присвоения прошлого, который обусловлен различными условиями определенного культурного контекста (Fischer, 1980). М. Чез и К. Шай в своей известной работе «Измерения ностальгии» (Chase, Shaw, 1989) называют три условия развития ностальгии: во-первых, принятый в современных западных обществах взгляд на время как линейное с неопределенным будущим, во-вторых, ощущение дефектности настоящего, вызывающего недовольство общества или отдельных его групп и провоцирующее ностальгическое обращение к прошлому; в-третьих, наличие материальных свидетельств (вещей, архитектуры, изображений) соответствующим ожиданиям ностальгирующих. Н. Маркос демонстрирует связь ностальгии с политическим мышлением как особого способа мифологизации истории (Marcos, 2004). Также концепт ностальгии тесно связан с идеей исторической памяти и утопического мышления — «это попытка преодолеть необратимость истории и превратить историческое время в мифологическое пространство» (Бойм, 1999). Н. Самутина развивает это определение с позиции переживания истории как травматического опыта, нуждающегося в терапии (Самутина, 2007). Д. Лоуэнталь полагает эскапистские настроения катализатором ностальгии: «Великие перемены пропитали ностальгией все вокруг. Революционные взрывы разделили прошлое и настоящее. После гильотины и Наполеона весь предыдущий мир казался невообразимо далеким — а оттого еще более дорогим» (Лоуэнталь, 2004). Ухронический⁵ характер мышления в современной России реализуется посредством ностальгических грез об ушедшей эпохе позднего советского прошлого — преимущественно 1970-х гг., которые видятся спокойной эпохой безвременья, когда, казалось, не будет конца застывшим, но предсказуемым практикам повседневной жизни⁶. В мангеймовской классификации эта форма ностальгии может рассматриваться как «ложное сознание», основанное на «несовременных» моделях мышления⁷.

Так сложилось, что 1960–1980-е гг. стали периодом, наилучшим образом вписывающимся в социальные рамки коллективной памяти. Видимых причин тому несколько. Прежде

представителей дуумвирата, выглядящие как-то странно, если учесть, что у власти — явно не геронтократы. Таковы законы жанра. Таков стиль эпохи. Новый старый сладостный стиль... Словом, «давайте будем работать, будем работать вместе, и я уверен, вместе мы победим!» Кто сказал? Надо ли подсказывать, что это Медведев Дмитрий Анатольевич?» Цит. По: Колесников А. Время суфлера // Gazeta.ru. 2007. Декабрь, <http://www.gazeta.ru/column/kolesnikov/2442315.shtml>

⁵ Ежи Шацкий в своей работе «Утопия и традиция» ухрониями называл утопии времени — «они рисуют счастливо когда-то или «когда-нибудь». Такие утопии — это не локализованные однозначно пункты линейного времени, но, как правило, острова во времени, нам не известном или же (если речь идет о прошлом) известном не слишком хорошо». Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс. 1990. С. 55, 77–98.

⁶ Между тем подобное восприятие 1970-х гг. лишь отчасти совпадает с их восприятием теми, кто жил тогда и уже тогда оставлял письменные свидетельства эпохи в виде дневников, писем, произведений литературы. Хмурые семидесятые с их идеологическим лицемерием и растущими материальными проблемами описаны в дневниках костромского литературного критика И.А. Дедкова. См.: Дедков И.А. Дневник. 1953–1994 / Сост. Т.Ф. Дедковой. М.: Прогресс-Плеяда. 2005.

⁷ «Носителями этой «идеологической» функции могут в первую очередь оказаться устаревшие и потерявшие свое значение нормы и формы мышления, а также интерпретации мира; они не только не уясняют совершенные действия, данное внутреннее и внешнее бытие, но скрывают их подлинный смысл... В качестве примера ложного сознания на уровне самоуяснения могут служить те случаи, когда человек скрывает исторически уже «возможное» «истинное» отношение к самому себе или к миру, искажает переживание элементарных данностей человеческого существования, «овеществляя», «идеализируя» или «романтизируя» их, короче говоря, когда посредством всевозможных приемов бегства от себя и от мира он достигает ложных интерпретаций опыта». См.: Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

всего, очевидно, что этот период обозначил тенденцию наступления приватного на коллективное тело всеобщего надзора и радиационного идеологического дискурса⁸: «именно в частном пространстве, пользуясь относительной свободой, зарождаются формы социализации и обмена идеями, которые описываются двумя характерными тогдашними словосочетаниями: “дружеская компания” и “московские кухни”» (Березович, 2003).

Тотальный страх, пронизывающий все поры социального организма СССР до конца 1950-х, постепенно стал отступать: стало возможно вздохнуть чуть более свободно, и этой свободой было достаточно для материального накопления и организации частной жизни, однако не хватало для массовой политической мобилизации⁹. Сегодня «время безвременья», в центре которого находились бесконечные семидесятые, получило второе рождение, благодаря массовой ностальгии по той эпохе, в которой участвуют не только «свидетели эпохи», но люди, родившиеся позже или заставшие ее в раннем детстве.

Ностальгическая блогосфера: народная история застоя

Объектом нашего исследования стал ностальгический сегмент российской блогосферы, базирующейся на платформе www.livejournal.com. До возросшей в 2011 году роли twitter, интернет-среда живого журнала оставалась наиболее влиятельной, а подчас и единственной площадкой формирования общественного мнения. Целый ряд социальных движений — от борцов с мигалками на автомобилях крупных чиновников до волонтеров, тушивших пожары жарким летом 2010 года — обязаны своему появлению ЖЖ.

Зона «Живого журнала» стала нечто большим, чем просто новым видом коммуникации: «Живой журнал» — медиа, предоставляющее его пользователям и читателям дополнительный уровень свободы обмена информацией, по сравнению с федеральными телеканалами и печатной прессой, где существуют элементы политической цензуры. Как отмечается в аналитическом отчете группы гарвадских исследователей, посвященном исследованию блогов: «Российская блогосфера — пространство, которое россияне используют для общения по вопросам, которые, как они понимают, представляют общественный интерес и потенциально требуют коллективных действий и признания (Bruce Etling, Karina Alexanyan, John Kelly, Robert Faris, John Palfrey, and Urs Gasser, 2010, P. 11). Кроме того, жж-сообщества — это форма интерактивной коммуникации, где производство дискурса носит коллективный характер, в противоположность тематическим сайтам, чаще всего разработанным одним или несколькими пользователями интернета¹⁰.

В российской части интернета существует около 3,8 миллиона блогов, что составляет около 3% от мировой блогосферы. Более 75% всех русскоязычных дневников находятся на пяти хостингах: LiveInternet.ru, LiveJournal.com, Blogs@Mail.ru, Diary.ru и

⁸ Противоречивость 1960–1970-х гг. прекрасно показана в «мемуарах» И. Кабакова, которые он начал писать в начале 1980-х гг.: «Самое интересное в 60-х годах — особый климат подпольной художественной жизни, который присутствовал, как густой настой, во всех мастерских-подвалах, комнатухах, где обитала художественная богема» (С. 25–26). «После 74-го — выставок в Измайлово и на «Пчеловодстве» ощущение гибели и истребления уменьшается, страха меньше, но ощущение нелепости, безнадежности своей судьбы остается все то же» (С. 59). «Оказалось возможным смотреть не туда, куда показывает указующий перст, а повернуть голову и посмотреть на этот сам перст; не идти под музыку, льющуюся из этого рупора, а смотреть и даже разглядывать сам этот рупор (С. 102)». См.: Кабаков И. 60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: НЛО. 2008.

⁹ Политическая мобилизация групп интеллектуалов становилась реальностью, с которой приходилось считаться советской системе: примером сетевой активности правозащитников может считаться бюллетень «Хроника текущих событий», выходявший с 1968 по 1983 гг. и ставший влиятельным самиздатским информационным проектом, вовлекшим в свою орбиту тысячи людей.

¹⁰ В настоящее время в рунете существует более полусотни интернет-сайтов, посвященных советской эпохе (см. например, «Музей “20й век”». Мы из СССР. Ностальгия по прошлому и нашему детству» <http://20th.su/>, «Босоногое.ру. Сайт о нашем счастливом советском детстве» <http://www.bosonogoe.ru/log/>, «СССР.тв» <http://cccp.tv/soviet/>, «Энциклопедия нашего детства» <http://www.76-82.ru/>). Ссылки на основные из них собраны в отдельный список на сайте «Наша Родина — СССР» — <http://back2cccp.ru/links.html>



LovePlanet.ru. «Средним блогером» является девушка 22 лет, которая живет в Москве. Ее блог существует год и девять месяцев, и она обновляет его раз в пять дней. У нее 19 друзей, а записи в дневнике комментируют 10 человек¹¹. Для анализа «ностальгического» сегмента российской блогосферы важно подчеркнуть, что авторами блогов являются люди в возрасте до 35–40 лет, для которых советское время — это период детства, отрочества, юности.

Наше исследование проводится в формате наблюдения за активностью выбранных «ностальгических» жж-сообществ через подключение к ленте сообщений этих сообществ в качестве «френда»-читателя. Наблюдение ведется с сентября 2008 г. Отдельно анализируется содержание сообществ за более ранний период их существования. В исследовательскую панель включено восемнадцать «ностальгических» жж-сообществ¹² и несколько индивидуальных блогов, где память о советском стала важной темой обсуждения¹³.

Самоописание изучаемых сообществ помогает понять, почему именно они идентифицированы нами как «ностальгические» по своему характеру. Внимание читателя жж-сообществ акцентируется на личном характере воспоминаний, связанных с событиями своей биографии или семейной истории:

— http://community.livejournal.com/soviet_life — «предметы советской жизни в фотографиях, картинах советских художников и в **ваших воспоминаниях**. Вещи, предметы быта, мебель, кухонная утварь, скамейки во дворе, дом, в котором вы жили, детский сад, игрушки, автомобили тех лет, будильники, телефоны, косметика, флакончики, баночки, ценники, проездные билеты, театральные программки, косынки, шапки, пальто, вешалки, удостоверения, значки, марки, этикетки, пионерские галстуки, школьные дневники — все советские предметы. И, конечно, **ваш комментарий-воспоминание**».

— http://community.livejournal.com/cherdak_ussr/, «это чердак СССР, вещи из прошлого. Большая барахолка ушедшей эпохи. Тут вещи, 99% которых уже сгорело на свалках СССР. Те крохи, что еще удастся найти, мы тащим сюда на чердак, чтоб **посмотреть, вспомнить и улыбнуться**».

— http://community.livejournal.com/nashe_detstvo «в этом комьюнити мы обсуждаем то, что сопровождало наше детство **самые обычные бытовые вещи и повседневные явления** этого светлого времени».

Часто самоописания изучаемых жж-сообществ являются микшированным списком артефактов, призванных не только задать границы периода, которому посвящено сообщество, но и стимулировать ассоциативное мышление читателя, погрузить его в материальный и символический контекст того времени:

http://community.livejournal.com/ru_museum70/ — «виртуальный Музей 70-х годов. Все, кого интересует эта тема, пишут сюда, с чем (или с кем) у них ассоциируется понятие «семидесятые годы». Все, что угодно — от моды, причесок и цен в магазинах, до политических и культурных событий. Единственное пожелание: это **должны быть явления советской жизни**. Было бы совсем здорово, если бы вы присылали побольше фотографий, картинок, этикеток, билетов, афишек, всяких других фишек той эпохи. Если можно (не обязательно, но желательно), помечайте хотя бы приблизительно ваш возраст, сколько вам было лет в 70-х годах».

¹¹ Подобнее см. Портрет российского блогера от «Яндекс»// <http://www.rb.ru/inform/73027.html>; Исследование блогосферы. Весна 2008 г./ <http://blogbook.ru/2008/04/18/issledovanie-blogosfery-vesna-2008/>

¹² [62_69](http://community.livejournal.com/62_69), [76_82](http://community.livejournal.com/76_82), [back_in_ussr](http://community.livejournal.com/back_in_ussr), [born_in_ussr](http://community.livejournal.com/born_in_ussr), [cccp_foto](http://community.livejournal.com/cccp_foto), [cherdak_ussr](http://community.livejournal.com/cherdak_ussr), [gdr_ddr](http://community.livejournal.com/gdr_ddr), [nashe_detstvo](http://community.livejournal.com/nashe_detstvo), [ru_1950s](http://community.livejournal.com/ru_1950s), [ru_60th](http://community.livejournal.com/ru_60th), [ru_museum70](http://community.livejournal.com/ru_museum70), [soviet_art](http://community.livejournal.com/soviet_art), [soviet_id](http://community.livejournal.com/soviet_id), [soviet_life](http://community.livejournal.com/soviet_life), [staraya_dacha](http://community.livejournal.com/staraya_dacha), [su_foto](http://community.livejournal.com/su_foto), [ussr_best](http://community.livejournal.com/ussr_best), [ussr_toys](http://community.livejournal.com/ussr_toys)

¹³ <http://allan999.livejournal.com/>, <http://germanyach.livejournal.com/>, <http://zina-korzina.livejournal.com/>, <http://aquatek-filips.livejournal.com/>, <http://untercug.livejournal.com/>

Наконец, ностальгический характер исследуемых сообществ проявляется в ходе анализа содержания сообщений и комментариев, значительная часть которых ориентирована на практики эмоционального погружения в ушедшую эпоху¹⁴, связанную с детством или юностью, где общий ностальгический потенциал может быть определен как совокупность импульсов памяти, испускаемых каждым из участников жж-сообщества¹⁵.

В нашем исследовании проведена граница между блогами исторической и ностальгической ориентации, поскольку подобное разделение важно для понимания различий между ностальгией как особой социально-психологической практикой, связанной с личным биографическим опытом, и увлечением историческими событиями. Исторические жж-сообщества представляют собой виртуальные клубы по интересам, где аккумулируются факты и ссылки по профильной теме. Примеры таких сообществ — «Крымская война 1853–1856 гг.»¹⁶, «Гражданская война в России»¹⁷, «Проект “1812 год” и не только...»¹⁸, «Оборона Севастополя 1941–1942 гг.»¹⁹ и др. В описании сообществ подчеркивается внимание к историческим деталям интересующей эпохи с документированной аргументацией:

«Здесь воспроизводится хронология событий Гражданской войны. Дается анализ тактических операций на фронтах, действий властей в районах, захваченных противоборствующими сторонами, приводятся биографии полководцев и простых участников революции и Гражданской войны, и прослеживаются их судьбы после окончания военных действий, прослеживается боевой путь отдельных частей. Приветствуется публикация документов, фотографий, глав и фрагментов из книг, ссылок на интересные ресурсы и источники». (http://community.livejournal.com/ru_civil_war/)

Помимо фокусировки на значимых событиях или периодах, исторически ориентированные блоги отличает временная удаленность обсуждаемых событий от биографий участников жж-сообществ: никто из них не являлся очевидцем обороны Севастополя или Гражданской войны в России, следовательно, не может апеллировать к личному опыту или собственными воспоминаниям. В этих сообществах ведутся жаркие споры по идеологической интерпретации и по фактологии интересующих событий. Однако, несмотря на возможную пристрастность, отсутствие личной вовлеченности в обсуждаемый временной период ограничивает возможности легитимации знания через личный опыт. Другая ситуация с жж-сообществами, которые мы классифицировали как «ностальгические». Участники исследуемых сообществ рассматривают себя в качестве экспертов по вселенной недавнего советского прошлого. Источником легитимации экспертного статуса является не наличие специального исторического образования или знание специальной литературы, а личное присутствие в советской жизни послед-

¹⁴ «Что-то недосказанное осталось после СССР», — метко сказал один аналитик. И не только потому, что СССР сошел со сцены раньше, чем большинство сограждан осознало неизбежность этого события. Но еще из-за того, что старый режим по своему чудачеству и застенчивости сам о себе многое старался недосказывать. Волны советской ностальгии должны были прийти, и они стали накатывать одна за другой — каждая со своим реставраторским замахом и своей манерой досказывать недосказанное. В первой ностальгической волне, поднявшейся в середине девяностых, тоска по утраченной державе слилась с гурманским умилением деталями советского быта, которые, уйдя в прошлое, стали вдруг казаться удивительно трогательными. См. Шелин С. Тускнеющее очарование сталинизма//www.gazeta.ru, 1.12.2010 г., <http://www.gazeta.ru/column/shelin/3451749.shtml>

¹⁵ «Все, что мы знаем о прошлом, основывается на памяти. Через воспоминания мы сознаем прошлые события, отличаем вчерашний день от сегодняшнего и убеждаемся, что переживаем именно прошлое». Лоуэнталь Д. Прошлое-чужая страна. СПб: изд-во «Владимир Даль». 2004. С. 306.

¹⁶ http://community.livejournal.com/crimean_war/

¹⁷ http://community.livejournal.com/ru_civil_war/

¹⁸ http://community.livejournal.com/ru_1812/

¹⁹ http://community.livejournal.com/sevastopol41_42



них десятилетий. Персонализированное обыденное знание о советском — вот главный источник экспертной власти на ностальгических блогах. То есть участники жж-сообществ являются «выращенными экспертами» в терминологии С. Тернера (Turner, 2001. P. 128). Соответственно в отличие от участников «исторических», участники «ностальгических» жж-сообществ предпочитают обращаться к собственной памяти и устным семейным нарративам как источнику релевантной информации, что демонстрирует типичный фрагмент обсуждения поста «Лучшая макулатура в мире»²⁰ о советской системе обмена макулатуры на дефицитные книги:

volkoped «Вспомнились советские реалии. Сдача макулатуры. Молодежь сейчас увидит эти марочки (помещено фотоизображение артефакта — Прим. авт.) и не поймет, что это за зверь и с чем его едят. А когда-то эти марочки можно было продавать. Тот же товар. Чтобы получить их, сдавали макулатуру, тащили с работы старые газеты, рыскали дома по сусекам, все это добро связывали в туки и толпились вокруг пункта приема макулатуры. В дни выдачи особо интересных книг очередь приходилось занимать с раннего утра. У меня был товарищ, он дружил с приемщиком макулатуры, и тот разрешал копать к нему во вторсырье. Товарищ много интересного и ценного откопал в залежах. Многие предпочитали детективы и Джека Лондона поэзии, соответственно, и в завалах можно было выловить что-то для души. А приемщику что? Продавал книжку из завала и то хорошо. Процесс был умно придумано кем-то. В конце семидесятых в стране был книжный голод. Бумаги не хватало для выпуска художественной литературы. Конечно, во многом ее не хватало потому, что львиная доля уходила на печатание самой макулатуры: миллионных тиражей партийной литературы, речей Брежнева, материалов различных партсъездов».

4-Фев-2011 quinnessa *«Самое ужасное, что на сдачу макулатуры в нашей провинции надо было выстаивать бешеные очереди, отмечаться по несколько дней, а то и недель, чтобы только получить право (!) пойти на пункт. В итоге этой очереди выдавалась карточка с местами под наклейку талончиков. А недавно вспоминали те времена и смеялись, что, если бы эта практика сохранилась, на семитомник про Гарри Поттера пришлось бы собирать 140 кг».*

4-Фев-2011 edelveis8

«я как-то умудрился сдать 15 кг макулатуры за какую-то ценную книгу, кажется Майн Рид, но только 1 раз. все же такое количество бумаги для школьника было большим весом. зато в школу постоянно носили макулатуру. средний вес за раз был обычно 5–7 кг».

Как отмечалось ранее, некоторые «ностальгические» сообщества прямо заявляют о миссии создания «народной истории» — альтернативы истории «академической», «официальной», что превращает их в стихийных сторонников концепции микроистории или истории повседневности. В целом специфика «ностальгических» жж-сообществ проявляется в трех связанных друг с другом способах идентификации себя их участниками. Во-первых, при обсуждении участники предпочитают обращаться к личному опыту и устным семейным нарративам в отличие от участников «исторических» жж-сообществ, чаще апеллирующих к историческим документам и публикациям. Во-вторых, участники ностальгических жж-сообществ позиционируют себя как очевидцев советской повседневности, тогда как в исторических жж-сообществах подобная роль исключена в силу временной удаленности обсуждаемых событий. В-третьих, экспертный статус участника «ностальгического» жж-сообщества укоренен в его личном опыте проживания советской эпохи, чего по понятным причинам не может быть с экспертным статусом участника «исторических» жж-сообществ.

Попытаемся обозначить ключевые черты ностальгической блогосферы исходя из рассмотрения способов и тематики возвращения в прошлое. Важнейшим инструментом

²⁰ http://community.livejournal.com/soviet_life/1100599.html

ритуала коммеморации²¹ служат обращения к персонифицированным микроисториям, реанимирующим советскую повседневность. Это позволяет вернуть ускользающую реальность, поскольку воссоздание прошлого будет тем более аутентичным, «чем больше письменных или устных свидетельств окажется в нашем распоряжении» (Хальбвакс, 2007). Какие кирпичики составляют виртуальную стену памяти о советской повседневности? Это вещи и социальные практики. Вещи рассматриваются не просто как предметы советского быта, но и как якоря, присоединяющие к себе цепочки воспоминаний о приобретении этих вещей, их использовании и их социальном значении²². Будучи социальными рамками памяти или «якорями повседневной памяти»²³, вещи призваны реконструировать прошлое не только фактически, осуществляя видимую и осозаемую манифестацию времени²⁴, но, в первую очередь эмоционально — погрузить рассказчика и участников сообщества непосредственно в то время, используя вещь в качестве магического посредника для хронопутешественника.

Подобно симпатической магии, когда предполагалось, что манипуляции с вещами отразятся на состоянии их владельца²⁵, ностальгическое обращение к вещам также подразумевает возможность непосредственного проникновения в ту эпоху и повторного переживания уже давно ушедшего. Обращение к вещам, как сосудам памяти, в ностальгических жж-сообществах происходит в формате размещения изображения вещи и прилагаемого короткого комментария или в формате рассказа о вещи с последующим обсуждением. Мнемоническим люком в советскую вселенную могут быть любые вещи от квитанции из прачечной, датированной 1974 годом, до фотографии космического корабля «Союз». Участник одного из ностальгических сообществ 13 dead время от времени выкладывает в блог фотографии сделанных им коллажей — наклеенных

²¹ П. Нора определяет коммеморацию как процесс, мобилирующий разнообразные дискурсы и практики в репрезентации события и содержащий в себе социальное и культурное видение памяти о коммеморативном событии, являясь выражением солидарности группы. См. Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-Память / Пер. с фр. Д. Хапаевой; Науч. конс. пер. Н. Колосов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 1999.

²² «Памятные вещи — это особенно дорогие, заветные переживания, сознательно сохраняемые из громадного общего массива памяти. Эта иерархия напоминает реликвии: все сколько-нибудь знакомое имеет некоторое отношение к прошлому и может вызывать определенные воспоминания. Но среди этого обширного строя потенциальных мнемонических образов прошлого мы храним лишь несколько сувениров, напоминающих нам о нашем собственном и прочем прошлом». Лоуэнталь Д. Прошлое-чужая страна. СПб: изд-во «Владимир Даль», 2004. С. 308.

²³ «Часто одни и те же элементы и приметы прошлого приводят к очень разным ностальгическим нарративам. Например, советский флаг, что вполне очевидно, может стать метафорой старого режима и символом его возрождения или свержения. Флаг шелковисто-красный, с неровной бахромой и следами перегретого утюга — может также служить якорем повседневной памяти о веселых праздниках и отгулах, которые законно присуждались знаменосцу, пришедшему на ноябрьскую демонстрацию в семь утра». Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца века: случай Ильи Кабакова // Новое литературное обозрение. 1999. № 39.

²⁴ К. Кобрин на примере книжной полиграфии показывает как время проявляет себя в материальных деталях: «Стоит взять в руки книгу, изданную в начале восьмидесятых, тут же понимаешь: грядет конец. [...] Взгляните на эти издания. Они пахнут химией, причем химией дешевой. Канули времена натурального клея, которым скрепляли переплет, наступили восьмидесятые с их дешевыми заменителями, вареными джинсами и жидким синтезаторным звуком поп-музыки. Советские книги первой половины десятилетия пахнут именно этими джинсами, этими звуками, этими временами. Что же до бумаги, то она еще вроде бы держится — по-прежнему плотна в столичных изданиях, однако ее неестественная белизна выдает уже эпоху тотальной дешевой стерильности. Такая бумага мгновенно желтела, причем не равномерно, а краями, иногда даже пятнами. Так вот — местами, медвежьими углами, провинциями — распалась и советская жизнь. Кобрин К. О пользе книг//polit.ru, 17 августа 2010, <http://www.polit.ru/author/2010/08/17/kobr170710.html>

²⁵ Джеймс Фрезер, развивая классификацию первобытной магии, пишет о контактной магии как примере магии подобия: «Ошибка контактной магии заключается в допущении, что объекты, некогда находившиеся в физическом контакте друг с другом, пребывают в контакте постоянно» цит. по Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М.: Вост.лит. 2003. С. 164–165.



на газеты мелочей советской поздней эпохи: монет, значков, скрепок, кассовых чеков, проездных билетов, спичечных коробков, марок (см. рисунок). Участники сообщества включаются в процесс обсуждения того, насколько аутентичны помещенные в коллаж советские вещи:



«Название «Очередной коллажик», подпись под фотографией «Круглый значок справа — “Об-щество борьбы за трезвость”». На кассете запись группы “Звезды”. Источник: http://community.live-journal.com/76_82/4928_609.html

Комментарии:

cancerogen 2011-02-05 Если уб-рать марку фестиваля (1985 г.), то все остальное — лето 1982. Ну и газета изрядно моложе, середина 70-х.

13_dead 2011-02-05 «Кассета 90-го... Да и талончик уже для компосте-ра. Мне кажется, они года с 85-го стали появляться. До этого как-то все больше отрывные...

Wishfullsinfull 2011-02-05 Спаси-бо, как будто в детство заглянула

wg_lj 2011-02-05 Внизу слева пуговица от школьной формы, как я понимаю?..

pascal65536 2011-02-05 02 Эх, спичечный коробок деревянный надо бы))

kukla_mila 2011-02-05 прикольная жвачка, никогда такой не видела

13_dead 2011-02-05 Кофейная или клубничная? Собственно говоря, в таком дизай-не были все вкусы. Если не изменяет склероз, то “кофейный” дизайн это более позд-ний, до него был “с Незнайкой”, а нижняя клубничная начала 80-х. Хотя, допускаю, что это просто мне они в таком порядке попадались. Но как клубничная были одними из ранних точно — примерно на таких бывает олимпийская символика.

Greengo 2011-02-05 Совершенно верно. В одном дизайне были апельсиновая, мят-ная и клубничная начала 80-х. “Кофейный аромат” — это уже середина 80-х

natalytarn 2011-02-05 жувака кофейная самая модная!

Lucipold 2011-02-07 Моя любимая жвачка! Плачу и ностальгирую, глядя на это фото...».

Представленный пост и фрагменты комментариев позволяют зафиксировать несколько дискурсивных планов ностальгии. Прежде всего, дискурсивный план «аутентичности»²⁶ — в большинстве исследуемых сообществ репрезентируются вещи советского периода — не копии, но оригинальные произведения советской промышленности, что придает им дополнительную ценность в глазах участников сообществ. Аутентичность устанавливается коллективно, и эта процедура схожа с работой археологов по датировке обнаруженного на раскопках артефакта — например, в случае обсуждения коллажа из вещей советского периода речь идет о разнице в три-пять лет — один из участни-

²⁶ Д. Лоуэнталь отмечает неоднозначность понятия «аутентичность» в ностальгических практиках — с одной стороны, вещь имеет символическую ценность, если она изготовлена в свою эпоху, а с другой, — дошедшие до нас вещи в силу своей изношенности часто не отражают того, как они выглядели в «то время»: «Гипсовые реплики в музее Альберта и Виктории, как отмечает критик, привлекают внимание в большей степени, чем истертые, потрескавшиеся оригиналы, а некоторые телеобозреватели жалуются, что в современных программах о Генрихе VIII и Елизавете I показывают потемневшую дубовую мебель, а не новую, свежеизготовленную, какой она должна была быть в XVI в. 2 Многие из тех, кто в своем воображении возвращается в прошлое, хотели бы видеть его таким же «новым», каким его воспринимали современники». См.: Лоуэнталь Д. Прошлое-чужая страна. СПб: изд-во «Владимир Даль». 2004. С. 240.

ков обсуждения считает, что коллаж отражает реалии 1982 г., тогда как другие относят его к более позднему периоду, указывая на присутствие на коллаже предметов из 1985-го и даже 1990-го гг.

Столь же важен дискурсивный план «функциональности» — насколько вещь советского периода оказывалась удобной/неудобной в использовании, долговечной/недолговечной, соответствующей/не соответствующей зарубежным аналогам своего времени. Зачастую дискуссии о функциональности вещей переводятся в идеологический контекст, касающийся отсталости или прогрессивности советской промышленности и, соответственно, всей системы управления советской экономикой. Аргументом в пользу продукции советской индустрии служит то, что участники сообществ этими вещами пользуются и сейчас. Вот пример обсуждения механической мясорубки, многие годы выпускавшейся Каслинским машиностроительным заводом:

yesaul 30-Авг-2010

«(Мясорубка) Хранится в родительском доме. Отлита по ГОСТ 4025-69 на Каслинском машиностроительном заводе: на верхнем широком раструбе — его эмблема — вздыбленный конь с попоной. Конструкция выверена и проста, как мычание, и потому космически надежна. Правда, постепенно тупился, а иногда даже и ломался крестик-нож: во время уно особенно привередничать по поводу качества мяса не приходилось, и прокручивали иной раз какие-то фантастические жилы и хрящи, чуть ли не кости. Помнится, достать новый нож было трудно; их, как и сами мясорубки, заказывали родне и знакомым из других городов.

За неимением кухонных комбайнов крутили в мясорубке и хлеб на котлетный фарш, и селедку с луком — фаршировать на праздники вареные яйца, и яблоки, и баклажаны, и другие фрукты и овощи. Что только не приравнивались советские хозяйки пропускать через мясорубку!

Комментарии

belvol 30-Авг-2010 *Шикарная вещь! Только крестик-нож я заменил на зубчатый (продается на рынке). Лучше этой мясорубки ничего не мелет. Единственное пришлось ручку поменять (пришлось купить на блошином рынке, деревянная родная развалилась).*

travelin_thru 31-Авг-2010 *современная) в хозяйственных магазинах по 570 рублей продается.*

lida_k 23-Окт-2010 *Эх, с трудом верится что теперь умеют сделать что-нить стоящее... металл не тот пошел...*

yesaul 31-Авг-2010 *Сколько воспоминаний способен оживить простой кусок чугуна!*

blackie_again 31-Авг-2010 *Только произнесешь — «каслинское литье», и сразу такой пласт ассоциаций...:»*

Следующий дискурсивный план, «эстетический», рассматривает, до какой степени дизайн советских вещей был привлекательным или отталкивающим. Здесь опять возникает спор об «убогости» или «оригинальности» советского дизайна бытовой техники, одежды. Например, блогер «germanyuch»²⁷ потратил немало времени на демонстрацию неудачного дизайна одежды и товаров народного потребления, сделанных в СССР: в его блоге были размещены тематические подборки фотографий с обширным комментариями. Результатом стали баталии о преимуществах и недостатках советского дизайна, развернувшиеся в комментариях. А петербургский блогер «untercug»²⁸, напротив склонен восхищаться советским дизайном и даже оформил одну из комнат своей квартиры в стиле 1950–1960-гг.²⁹

Далее, важным дискурсивным планом является «эмоциональное узнавание» участники сообществ опознают в представленных на обсуждение вещах те, что они видели в

²⁷ См. например «Во что одевалась советская молодежь//» <http://germanyuch.livejournal.com/130938.html>

²⁸ <http://untercug.livejournal.com/>

²⁹ См. пост «Комната в стиле ретро» <http://untercug.livejournal.com/23587.html>



своем детстве или юности. Узнавание открывает дверь для проникновения в атмосферу эпохи и, начав с обсуждения, например, школьной формы, участники сообществ в своих комментариях воссоздают пространство советской школы со всем ее миром — запахами столовой, звуками спортивного зала, дисциплинарными практиками борьбы с курением, пионерскими линейками, смотрами строя и песни и т.п. Для многих эмоциональное узнавание становится формой биографической ретроспекции, возвращением в личное прошлое³⁰. Показательным здесь является элегический пост блогера *kukla_mila* о советской почте, вернее, о детских впечатлениях посещения почтового отделения:

(kukla_mila) 2011-02-17 «В детстве я обожала ходить на почту. Там так вкусно пахло сургучом! Я могла бы бесконечно стоять и вдыхать этот запах. И смотреть как женщины в синих робах — работницы почты — взвешивают посылки на огромных круглых весах со множеством мелких разноцветных делений. [...] А потом мажут стыки и швы посылок сургучом и звонко ставят штампы. Бабушка часто отправляла посылки многочисленной родне. На почте для посылок продавали специальные фанерные ящички коричневого цвета. Их заколачивали прямо на почте и ручкой на крышке надписывали адрес. Но бабушка предпочитала все дома заранее уложить в картонную коробку, коробку положить в холщевый мешочек и зашить. И уже по ткани писать адрес. [...] А с мамой мы ходили на почту отправлять телеграммы. Нужно было взять бланк, взять перо и найти чернильницу с еще не высохшими чернилами. Удивительно, как долго просуществовали на почте эти письменные принадлежности! И какой красивый становился с ними почерк. Даже зайчиков или цветочки рисовать получалось замечательно, и я разрисовывала от души десяток бланков[...]»³¹.

Воспоминание о социальных практиках — это другой путь погружения в советскую повседневность. Вслед за А. Реквицем единичной социальной практикой будем считать «рутинизированный тип поведения», включающий элементы — форм телесных действий, форм ментальных действий вещей и их использования, а также фонового знания в виде эмоций и мотиваций» (Reckwitz, 2002. Р. 34). Помимо чисто ностальгической, другой важной интенцией производства воспоминаний о советских социальных практиках является стремление участников жж-сообществ архивировать позднюю советскую повседневность. Ощущая себя хранителями аутентичного знания о советском, блогеры полагают, что профессиональные историки могут «забыть» о быте той эпохи, поскольку в основном занимаются Большой Историей экономических, политических, идеологических институтов. И тогда миссия народной историографии ностальгических блогов послужит достоверной летописью советского мира, расскажет о том, как было «на самом деле». Интерес участников ностальгических сообществ вызывают самые разные практики советского: особенности карьеры в системе внешней торговли³², оплата проезда в общественном транспорте³³, оформление загранпаспорта, выезды на картошку и овощебазу, потребление газированных напитков в автоматах, проведение семейных и государственных праздников, покупка мебели по записи и продуктовые спецзаказы на предприятиях.

Как уже отмечалось, тема советского детства занимает заметное место в содержании ностальгических сообществ, что, впрочем, неудивительно, учитывая возрастные рамки активной интернет-аудитории. Выступая в роли исторических социологов, участники

³⁰ В академическом дискурсе примером такой биографической ретроспекции может служить эссе А.М. Сологубова, основанное на проживании своей профессиональной социализации в области фотографии через череду воспоминаний о фотоаппаратах, которыми на протяжении своей жизни владел автор. См. Сологубов А.М. Фотография и личное переживание истории (автобиографический эссе) / Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск: Каменный пояс. 2008. С. 75–103.

³¹ http://community.livejournal.com/76_82/4945822.html

³² http://community.livejournal.com/back_in_ussr/269655.html

³³ http://community.livejournal.com/soviet_life/1117198.html

ностальгических жж-сообществ стремятся к полному описанию той или иной социальной практики: выясняют причины и хронологию ее возникновения, генезис, степень распространенности, функции и правила, включая воспоминания о личных ощущениях, например, запаха сургуча в советском почтовом отделении. Внимание к деталям, порой входящая до маниакальности, — видимая черта обсуждений ностальгических жж-сообществ.

По сути, благодаря хаотичности размещения постов и разнообразию обсуждаемых артефактов советского, тематические жж-сообщества превращаются в блошинные рынки или лавки старьевщиков, где настольный бюст В.И. Ленина соседствует с иллюстрациями к книгам А. Гайдара и изображением пылесоса «Ракета». Л. Горалик называет это ретроизацией — реализующейся посредством механизма упрощения, когда «советское ретро» представляет советскую эпоху как набор простых, обаятельных принципов и ситуаций» и механизм селекции символов, когда происходит «уплощение их смыслов и, таким образом, уплощение понимания самой эпохи, к которой эти символы относятся». В этом отношении, стилистически безупречные иллюстрированные сборники Л. Парфенова находятся в одном ряду с Музеем советского детства, открывшемся в Севастополе,³⁴ — и там, и там мы имеем дело с символическим чердаком советских артефактов, располагающихся в том же беспорядке, в каком находится понимание роли советского в истории страны.

Ностальгия может рассматриваться не только как бегство от реальности или мысленное возвращение к прошлому, но и как винтажная модель потребления, ставшая популярной последние десять лет благодаря гляцевым московским журналам «Вещь», «Что купить», «Большой город», «Афиша» и др. Секонд-хенды, «комиссионки», блошинные рынки, «бабушкины сундуки» позиционируются как источники вдохновения денди двухтысячных.

Являются ли виртуальные фабрики ностальгии лишь невинным увлечением мечтателей о «прекрасном далеко»? Анализ содержания исследуемых жж-сообществ показывает, что они представляют собой площадки идеологической борьбы, связанной с оценкой позднего советского периода. Артефакты прошлого заставляют блогеров вольно или невольно проговаривать собственную позицию в отношении советского периода — называя его «убогим совком» или «лучшей эпохой с отдельными недостатками». Следует отметить, что в самоописании («user info») большинство ностальгических жж-сообществ подчеркивают собственную невовлеченность в дискуссии о месте советского времени в истории³⁵, предлагая невинные игры с советскими артефактами. Однако на практике дистанцироваться от идеологии не удается. Так, в конце мая 2009 г. в сообществе *soviet_life*³⁶ разгорелся скандал между «просоветской» и «антисоветской» группами читателей. Скандал завершился тем, что одна из «смотрителей» сообщества «levkonoe»³⁷ была идентифицирована как настроенная «антисоветски» и исключена³⁸. Победу одержало «просоветское» лобби под руководством модератора сообщества

³⁴ 7 ноября 2010 г. в Севастополе открылся Музей советского детства. Владелец музея так описал собранную коллекцию: «Мне удалось собрать уже не один десяток экспонатов, характеризующих советское время, начиная с 60-х годов. Среди них, например, два игровых автомата, где используются старые советские 15 копеек. Именно этими «пятнариками» и будут запускаться автоматы. Я собрал знамена, флаги той поры, предметы обихода, домашнюю радиоаппаратуру, детские игрушки, газеты и журналы для детей и юношества той эпохи». См. <http://www.sevastopol.su/news.php?id=24341>, http://community.livejournal.com/76_82/4943075.html

³⁵ Пожалуй только сообщество «Родившиеся в СССР» (http://community.livejournal.com/born_in_ussr) прямо указывает на свою «просоветскую» позицию в описании: «Мы назвали наше новое комьюнити *born_in_USSR*, поскольку все мы действительно родились в СССР всего два десятилетия назад — развитием, хоть и социалистическом, государстве, превратившемся ныне в отсталую и растерзанную, хоть и капиталистическую, страну».

³⁶ См. http://community.livejournal.com/soviet_life/504704.html?page=1#comments

³⁷ <http://levkonoe.livejournal.com/>

³⁸ Обстоятельства скандала подробнее см. http://community.livejournal.com/soviet_life/504704.html?page=1#comments; http://community.livejournal.com/soviet_life/505679.html; <http://sirjones.livejournal.com/581119.html>



«vorontsova-nvu»³⁹, предпочитающее ностальгически-позитивные воспоминания о советском. Порой ностальгия о советском индуцирует бои, по своей ожесточенности и бескомпромиссности напоминая виртуальную гражданскую войну⁴⁰. И все же по своей распространенности «тотальная ностальгия» в жж-сообществах уступает «иронической рефлексивной ностальгии», где имеет место «двойное зрение, игра со временем и ритуальной реальностью памяти». Такую ностальгию «интересует не предмет, а процесс, воспоминание как таковое, любование ускользающей деталью, фрагментом. Метонимическая деталь является якорем памяти, а не эмблемой прошедшего золотого века. Ирония и отстранение не чужды ностальгии второго типа» (Бойм, 1999).

Концепция М. Хальбвакса связывает социальные рамки памяти в первую очередь с детскими воспоминаниями, возвращение в которые является специфической формой эскапизма. «Советское детство» по праву занимает ключевое место в ностальгических жж-сообществах. Народная антропология советского детства также раскрывается через обращение к вещам и социальным практикам. Отдельная большая тема ностальгии — советские детские игрушки. В марте 2009 года было создано специализированное жж-сообщество «ussr_toys»⁴¹, посвященное «игрушкам, сделанным в СССР и все, что с ними связано». На страницах этого жж-сообщества обычно вывешивается фото-изображение игрушки советского периода шестидесятых-восьмидесятых, вокруг которого строится нарратив участников. Многие испытывают ностальгическое умиление, узнавая знакомые вещи, другие заняты ностальгической археологией, выясняя где, в какое время и по какой цене продавались подобные игрушки:

В завершение, кратко остановимся на некоторых функциях ностальгических жж-сообществ. Участники этих сообществ заняты архивацией прошлого — их интенция заключается в максимально точном и детальном описании советской повседневности 1960–1980-х гг. Накопление знания о советском центрировано на бытовых мелочах и иногда принимает гипертрофированные формы жадного складирования мельчайших фактов, практик, вещей, совершаемого с плюшкинской одержимостью.

Связанной с архивацией является функция колонизации прошлого — расширение территории знания о советском посредством коллективной активности всех участников тематических сообществ. Свою миссию они видят в устранении «белых пятен» истории советской повседневности последних десятилетий существования СССР. Имеются в виду не закрытые страницы политической или экономической истории, а лакуны в описании практик, стилей жизни, языка, вещей, относящихся к поздней советской эпохе.

Другой важной функцией является эскапизм — через эмоциональное погружение в ностальгические грезы многие участники жж-сообществ вновь и вновь возвращаются в период семидесятых-восьмидесятых⁴². Для одних это время безоблачного детства или юности, для других образец духовности, для третьих — эпоха стабильности⁴³. В ностальгических

³⁹ <http://vorontsova-nvu.livejournal.com/>

⁴⁰ Например, безобидный пост smirnoff_98, разместившего ссылку на советскую видеорекламу плавленого сыра, вызвал ожесточенную перепалку среди тех, кто считал советское время периодом «сырно-го изобилия», и тех, кто настаивал на тотальном дефиците сыра. См. http://community.livejournal.com/soviet_life/1116558.html

⁴¹ http://community.livejournal.com/ussr_toys

⁴² На эмоциональном погружении в мир советского детства 1970–1980-х гг. построен недавно опубликованный роман московской писательницы и блогера Ульи Новы (<http://ulya-nova.livejournal.com/>), в котором сюжет второстепенен перед бесконечным описанием мельчайших деталей позднего советского быта в восприятии ребенка, живущего в подмосковном городе. См.: Нова У. Лазалки. Роман-тайна о детстве. М.: АСТ. Астрель. 2010.

⁴³ Л. Парфенов: «Главное определение брежневской эпохи — это остановившееся время. Казалось, что его можно резать ножиком на куски. Оно так вязко, густо стоит и не двигается. Время как общенациональное, государственное — скучное. Но внутри, на уровне личной инициативы, в свободное время — оно очень богатое. «Ирония судьбы» — тому подтверждение. Никаких общественных интересов нет. Все разошлись по своим квартирам. Мои две комнаты — моя крепость». Парфенов о «неплохом мужике» Брежнев и «эпохе застоя». С днем рождения, дорогой Ильич! (интервью РИАНовости) // <http://www.rian.ru/interview/20091014/188794657.html>

сообществах неоднократно возникала тема особых человеческих отношений, существовавших в советское время — их участники полагают, что в советское время люди были более открыты, искренни, расположены помочь в сложную минуту, а дружба основывалась не только на взаимной выгоде, но и на бескорыстном интересе друг к другу. Фактически, советское время оценивается как время доминирования *Gemeinschaft* в противоположность современности, в которой главенствуют *Gesellschaft*-социальные отношения (По Ф. Теннису).

Идеологическая борьба «антисоветчиков» и «просоветчиков» образует следующую функцию ностальгических блогов — стремление той или иной стороны расставить собственные исторические акценты в оценке советского прошлого. Фотоматериалы, описание вещей, фактов, быта используются как оружие идеологической борьбы тех, кто оценивает позитивно советский период, и тех, кто считает его провалом истории страны. Соответственно, через призму прошлого рассматривается и настоящее. Для одной части участников блогосферы прекрасное советское прошлое является аргументом в критике постсоветского периода, а для другой, «ужасная» повседневность «совка» лишний раз свидетельствует о необходимости и исторической обоснованности произошедших перемен. То есть ностальгическая оптика служит оценке актуальной социальной, политической, культурной и экономической ситуации.

Довольно часто участниками и читателями ностальгических жж-сообществ являются молодые люди, родившиеся после 1985 г. Они могут судить о советском периоде только по рассказам родителей, кинофильмам, оставшимся вещам и книгам. Между тем многие из представителей этой возрастной группы не только проявляют интерес к последним советским десятилетиям, но вместе с более взрослой аудиторией участвуют в ностальгических радениях. Они готовы к эмпатическому погружению в ностальгию по советскому, хотя это уже не связано с их личными воспоминаниями или идеологической борьбой. Молодых привлекает винтажный дух эпохи, выраженный в забавных вещах, милых странностях социальных отношений и принадлежности этого времени к юности родителей. Немаловажное место здесь занимают и меняющиеся модные тренды: в течение последнего десятилетия мода ищет вдохновения то в шестидесятых, то в семидесятых, и, наконец, сейчас — в относительно недавних восьмидесятых. Для молодежной части аудитории тематических жж-сообществ ностальгические практики становятся формой погружения в атмосферу того времени⁴⁴.

Анализ содержания ностальгического сегмента российской блогосферы позволяет сделать ряд заключений. Несмотря на молодой состав российских блогеров, тема ностальгии по позднему советскому периоду оказалась востребованной и в настоящее время существует около двадцати тематических жж-сообществ. Инициаторами постов и комментариев в ностальгическом сегменте российской блогосфере преимущественно являются люди, чье детство и юность пришлось на позднее советское время. В своих сообщениях они активно используют собственные детские воспоминания и опыт жизни в 1970–1980-е гг. Между тем комментаторами постов в ностальгических жж-сообществах

⁴⁴ Одновременно, опросы общественного мнения показывают, что молодежь в целом безразлична к советскому времени, которое для этой группы населения столь же далекое прошлое как, например, крепостное право: «Согласно опросам ВЦИОМ, у среднего и старшего поколения наших соотечественников слово “советский” вызывает в основном положительные эмоции. Молодежь, напротив, настроена безразлично. При слове “советский” респонденты помимо ностальгии (31%) испытывают также чувство гордости (18% против 1%) и одобрения (17% против 2%). Оно вызывает главным образом светлые и хорошие воспоминания (14%), ассоциируется с порядком и уверенностью в завтрашнем дне (11%), великой державой (9%), детством и юностью (7%), идеологией коммунизма (7%). Застой, дефицит и очереди вспомнили только 3% опрошенных. Отношение к советскому и антисоветскому различается в разных возрастных группах. У молодежи слово “советский” вызывает безразличие (26%), как и слово “антисоветский” (28%). У пожилых, напротив, советское вызывает ностальгию (41%) и одобрение (23%), а антисоветское — в лучшем случае осуждение (32%)». Рахимов Т. Ностальгия по СССР не отпускает россиян // utro.ru, <http://www.utro.ru/articles/2010/02/01/869518.shtml>, 1 февраля. 2011 г.



зачастую являются молодые люди в возрасте 20–25 лет, для которых советский период является временем, о котором они знают только из рассказов родителей и информации в СМИ. Для молодой части аудитории ностальгических сообществ большое значение приобретает эмоциональный аспект прошлого, охватывающий диапазон удивления, умиления, отвращения и т.п. Следует отметить, что у представителей молодого поколения советское преимущественно вызывает положительные эмоции.

Большинство ностальгических жж-сообществ стремятся исключить из обсуждений политические оценки позднего советского периода, поскольку они служат источником жесткого противостояния «просоветски» и «антисоветски» настроенных блогеров. Между тем исключение политического контекста из содержания сообществ далеко не всегда является успешным — зачастую вполне безобидные воспоминания о бытовых мелочах эпохи застоя могут стать поводом для конфликта.

Для участников ностальгических жж-сообществ важным является производство коллективной памяти: сегодня история «советского» продолжается на всем постсоветском пространстве, продолжается либо в качестве негативного мифа об ужасном прошлом, отталкиваясь от которого как от отрицательного примера, следует строить будущее и настоящее, либо в качестве позитивного мифа о «золотом веке», ушедшем, к сожалению многих, навсегда.

Если опираться на анализ ностальгической блогосферы России, то ответ на вопрос о расставании с советской эпохой очевиден. Расставания не произошло, да и не могло произойти — слишком многое из той эпохи не завершилось, осталось частью повседневной жизни, а то и институциональными основаниями российского общества.

Литература

- Chase M., Shaw C. The dimensions of nostalgia / M. Chase and C. Shaw (eds) *The imagined past: history and nostalgia*. Manchester: Manchester University Press, 1989, pp. 1–17.
- Davis F. *Yearning for yesterday*. New York: Macmillan 1979.
- Fischer V. *Nostalgie. Geschichte und Kultur als Trüdelmarkt*. Luzern and Frankfurt: C.J.Bucher, 1980.
- Johannisson K. *Nostalgia*. En kändslas historia. Stockholm: Bonnier, 2001.
- Marcos P.N. History and the Politics of Nostalgia // *Jowa Journal of Cultural Studies*, 2004, October, 5, pp. 23–35.
- Public Discourse in the Russian Blogosphere: Mapping RuNet Politics and Mobilization/by Bruce Etling, Karina Alexanyan, John Kelly, Robert Faris, John Palfrey, and Urs Gasser / Berkman Center Research Publication No. 2010 11, 19 october 2010, p. 33. Режим доступа: http://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Public_Discourse_Russian_Blogosphere
- Reckwitz A. Toward a Theory of Social Practices // *European Journal of Social Theory*, 2002, vol.5:2, p. 245. / Цит по Волков В.В., Хархордин О.В. *Теория практик*. СПб: ЕУ в СПб, 2008.
- Turner S. What is the Problem with Experts? // *Social Studies of Science*. Vol. 31. No. 1 (February 2001).
- Берелович А. Семидесятые годы XX века: реплика в дискуссии // *Мониторинг общественного мнения* № 4 (66). Июль август 2003.
- Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца века: случай Ильи Кабакова // *Новое литературное обозрение*, № 39. 1999.
- Волков В. В., Хархордин О. В. *Теория практик*. СПб: ЕУ в СПб, 2008.
- Горалик Л. Росагроэкспорта сырка. Символика и символы советской эпохи в сегодняшнем российском брендинге // *Теория моды*, № 4. С. 6–21.
- Дедков И.А. *Дневник. 1953–1994* / Сост. Т.Ф.Дедковой. М.: Прогресс-Плеяда, 2005.
- Исследование блогосферы. Весна 2008 г. // Режим доступа: <http://blogbook.ru/2008/04/18/issledovanie-blogosferyi-vesna-2008/>
- Кабаков И. 60–70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: НЛО, 2008.
- Кобрин К.О пользе книг // *Polit.ru*, 17 августа 2010. Режим доступа: <http://www.polit.ru/author/2010/08/17/kobr170710.html>

Колесников А. Время суфлера // Gazeta.ru, декабрь 2007. Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/column/kolesnikov/2442315.shtml>

Л. Парфенов о «неплохом мужике» Брежневе и «эпохе застоя». С днем рождения, дорогой Ильич! Интервью для РИА-новости // Сайт РИА-новости, 14 октября 2009. Режим доступа: <http://www.rian.ru/interview/20091014/188794657.html>

Лоуэнталь Д. Прошлое чужая страна. СПб: изд-во «Владимир Даль», 2004.

Мангейм К. Идеология и утопия / Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: 1994.

Нова У. Лазалки. Роман-тайна о детстве. М.: АСТ, Астрель, 2010.

Новиков М. Ностальгия по СССР. Вспомнить все // Коммерсантъ, № 1 (1183), январь 1997.

Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-Память / Пер. с фр. Д. Хапаевой; Науч. конс. пер. Н. Копосов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999.

Портрет российского блогера от «Яндекс» // Режим доступа: <http://www.rb.ru/inform/73027.html>

Рахимов Т. Ностальгия по СССР не отпускает россиян // Utro.ru, 1 февраля, 2011. Режим доступа: <http://www.utro.ru/articles/2010/02/01/869518.shtml>

Самутина Н.В. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино. Препринт WP6/2007/01. М.: ГУ ВШЭ, 2007.

Сологубов А.М. Фотография и личное переживание истории (автобиографический эссе) / Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск: Каменный пояс, 2008.

Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб: Даль, 2002.

Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб: Даль, 2002.

Хальбвакс М. Реконструкция прошлого / Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.

Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990.

Шелин С. Тускнеющее очарование сталинизма // Gazeta.ru, 1 декабря 2010. Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/column/shelin/3451749.shtml>

Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. М.: Восточная литература, 2003.

Визуализация памяти

Пространство памяти в «Афганском» музее: попытки договориться с прошлым

Елена Рождественская*

Ирина Тартаковская**

«Единственное, что является хранителем культурной памяти
и, мало того, сохраняет актуальное культурное
существование, — это все-таки музей...
Это единственное место не только культурного,
я бы сказал, даже религиозного пребывания,
где человек оказывается в тишине,
в благополучии и **способен созерцать прошлое**,
способен видеть великие вещи»
(Илья Кабаков)

Введение

В городском ландшафте социально-историческая память пульсирует то явно, то скрыто, вполне отражая дискурсивную картину социальной потребности в истории. Институциональная сеть городской коммеморации являет собой институционально востребованные объекты как, например, Медный всадник в Петербурге или Вечный огонь у Кремлевской стены в Москве, призванные хранить / напоминать страницы предшествующей истории страны и города, программные для массовой идентификации. Но предметом нашего интереса будет локальная меморизация «локальной войны» в Афганистане, воплотившаяся в небольшие музеи-клубы встреч и воспоминаний. Двойное название во многом отражает их ведущую коммуникативную функцию, но сам предмет меморизации далеко не столь однозначен. Взглянем на неполный список, предлагаемый интернетом:

Государственный выставочный зал-музей истории войны в Афганистане (Москва, Перово)

Клуб-Музей «Патриот» (Обь)

Музей памяти воинов-интернационалистов (Минск)

Музей российского союза ветеранов Афганистана (Кировская Область)

Музей «Воинская слава и афганская война» (Оренбург)

Музей Боевой Славы воинов-интернационалистов (Ногинск)

Музей ветеранов Афганистана и локальных конфликтов (Омск)

Военно-патриотический клуб «Память» (Белгород)

Клуб реконструкции войны в Афганистане 1979 1989 годов (Одесса)...

* Рождественская Елена, проф. факультета социологии НИУ ВШЭ, вед.н.с. ИС РАН, erozhdestvenskaya@hse.ru

** Тартаковская Ирина, ст.н.с. ИС РАН, lusia.richardson@gmail.com

Разнообразие названий подсказывает, что организаторы с инициативой «на местах» и «снизу» решали непростую задачу обоснования практики меморизации и репрезентации своего опыта другим. Меморизация и репрезентация чего именно, кого и для кого? Этот вопрос отражает проблематику на стыке двух подходов — исследований военной памяти (*war memory studies*) и культуральных исследований (*cultural studies*). Соответственно меморация «задевает» как понимание специфики памяти о войне, в данном случае Афганской, так и дискурсивные культурные практики, нацеленные на символизацию этого мемориализуемого события.

Репрезентируемая память

Теоретической рамкой для музейной меморизации памяти о войне мы выбираем концепт «места памяти» Пьера Нора, приобретший в российском социальном дискурсе большую популярность. Он исходит из того, что с угасанием живых традиций памяти в современном обществе мы застаем лишь «архивные формы» памяти, которые можно обнаружить в особых, изолированных от обычного течения жизни «местах». Эти места представляют собой воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась утраченной (Nora, 1989. P. 12). По мнению П. Нора, невероятное ускорение истории погружает все в область окончательно минувшего, заражая настоящее лихорадкой сохранения следов, порождая гипертрофию институций памяти: архивов, музеев, библиотек, коллекций, цифровых массивов, акций, банковских данных, хронологий и репертуаров, по совокупности, зеркало нашей идентичности (Nora, 1974). Но это ускорение времени сопутствует радикальным социально-политическим изменениям, расставляющим новые дискурсивные акценты в Большой истории, провоцирует диверсификацию политик меморизации тех социальных групп, чей исторический опыт подвергся переоценке, как это произошло с ветеранами Афганской войны (знаменитое «Мы вас туда не посылали», «Нас предали»). Таким образом, идеи П. Нора о крахе больших линейных нарративов, сопряженные с социальными изменениями, отражают логику сворачивания официального исторического дискурса к фрагментированной мозаике вокруг «мест памяти». Но было бы справедливо оговориться, что влияние концепции П. Нора в российской исторической науке бесспорно для направления микроистории и устной истории.

«Места памяти» как репрезентируемые объекты «подтягивают» еще один теоретический ресурс — понятие «искусной памяти», введенное Ф. Йейтс (Йейтс, 1997). Увязывая различия между «естественной памятью» и «искусной памятью», использующей приемы запоминания, риторику, Ф. Йейтс пишет, что искусная память использует для запоминания «образы» и «места» (*loci*). Если образы служат непосредственным напоминанием об объекте меморизации, то места (*loci*) позволяют запомнить образы в нужном контексте.

Интерес к эстетическому качеству исторического опыта отмечает и Й. Рюзен, описывая тенденции в постмодернистских исторических исследованиях (Рюзен, 2001). Современный исторический дискурс должен воспроизводить картину, образ прошлого, наделенный эстетическим качеством, провоцировать воображение, то есть, принять постмодернистский акцент на эстетику и риторику как необходимый вклад в свое мета-теоретическое самосознание.

Закономерно, что эстетизация исторического дискурса и смещение к местам памяти, приобретающим характер локальных образов, находит свое воплощение и в исследованиях мемориальной отечественной культуры с указанных позиций. Мы обратимся к работе Натальи Конрадовой и Анны Рылевой, которые прослеживают закономерности развития мемориальной деятельности от мемориалов Великой Отечественной до современности (Конрадова, Рылева 2005). Они пишут, что в последние годы можно наблюдать тенденцию к центробежности мемориального дизайна, к потере смыслового центра, который обязательно присутствовал во время монументального строитель-



ства 1960–1970-х. В начале 80-х в России к кенотафам героев Великой Отечественной войны приписывали имена воинов-афганцев, но уже в конце 80-х каждому событию ставился отдельный памятник, однако чаще всего эти памятники концентрировались в одном мемориальном месте, первоначально освященном памятником Великой Отечественной. К 90-м годам иерархия нарушена, появляются не только памятники новым героям (или жертвам), но и новые памятники старым событиям.

Важный вывод, к которому приходят авторы статьи, касается «устойчивой тенденции к возрождению советской военно-мемориальной традиции и системы патриотического воспитания, во многом репродуцирующих прежнюю образную систему (и в риторическом, и в визуальном плане), изменение которой происходит лишь в замене «советского народа» на «российский». С другой стороны, наблюдается попытка отхода к области «интимной», локальной, а не государственной, идеологизированной памяти о Великой Отечественной. На авансцену выходят жертвенность и тяжелый быт, не только героизм и подвиг.

Преемственное исследование мемориалов Афганской войны мы находим у Натальи Даниловой, которая выделяет три основных типа мемориалов, представляющих разные подходы к мемориализации Афганской войны: военное братство; покаяние или политический контракт; триумф власти или малая версия «большой» войны (Данилова, 2005). Мемориалы, посвященные теме военного братства, она называет типичной формой репрезентации памяти о погибших в Афганистане. Ценности братства, боевого товарищества, независимого от политических обстоятельств, определяют символическое поле мемориалов этого типа. Важный акцент исследовательница ставит на отрицании возможности сопереживания утраты боевых товарищей, поскольку в этих памятниках отсутствуют символы, представляющие общество, родителей / матерей. Н. Данилова приходит к выводу, что такая репрезентация войны свидетельствует о локальности, замкнутости группы и ее памяти на саму себя.

Вторую группу мемориалов объединяет религиозная тема с использованием соответствующих символов: контура церкви, креста, что приводит к включению в мемориальные комплексы часовен. Религиозные символы участвуют в памятниках погибшим в Афганской войне, возведенных в Нижневартковске, Минске, Севастополе, Омске и других городах.

Третья группа мемориалов Афганской войны примыкает к советской традиции меморизации погибших воинов. Характерный стиль этих установленных в публичных местах мемориалов — монументальность и использование типичных для советского контекста символов воинской скорби: Вечный огонь, фигура скорбящей матери. Н. Данилова заключает, что, «если в двух предыдущих типах репрезентаций связь с Великой Отечественной скорее косвенная, то в этом случае общность войн воспроизводится по принципу подобия» (Данилова, 2005). Реставрация советского стиля меморизации служит признаком того, что часть проектов памяти об Афганской войне «взята под опеку» государственной идеологией, озабоченной преемственностью военного опыта.

Как же организовано символическое пространство музея памяти об Афганской войне? На каких визуально-вещных платформах идет диалог с прошлым об Афгане? Каково соотношение пафоса и этоса в формате музейной экспозиции об афганских событиях и участниках?

Музей как институциональная рамка

Задача организации музея-клуба, обслуживающего локальную социально-коллективную память, будучи помещена в живое культурное пространство, неизбежно, как фигура на фоне, вступает с ней контекстуально в диалог. Этот диалог может быть продуктивен, перенимая через музейный менеджмент и ангажированных креативных участников стили и веяния современной музейной культуры. Но это взаимодействие может быть и контрпродуктивным из-за финансовых проблем, идеологических противоречий. Современная

музейная культура¹, интерактивная и рефлексирующая, чужда пафосу, равно как и одной идеологии, кстати, благодаря этим фреймам становится возможным анализ воздействия музейного дизайна на поведение и идентичность посетителей. Так, Тони Бенетт в своей работе «Рождение музея» описывает музей как дисциплинарную машину, призванную воплощать через просветительские задачи общие нормы социального поведения (Bennett, 1995). В галереях, по Стефану Банну, выстраивается чередой залов нарратив развития от средневековой живописи до сегодняшнего дня (Bann, 1998). Подобный вектор развития визуальной культуры есть предмет трансляции конструируемого в стенах галереи знания, но и власти интерпретации именно такого пути развития и отбора его значимых вех.

Проинвентаризируем функции современного классического музея, — эта попутная задача позволит нам разобраться со специфическими функциями музея памяти. В чем различия этих хранилищ искусства и памяти?

Музей, как привилегированное, с точки зрения Д. Бюрена (Бюрен, 2009), место, выполняет тройную функцию: эстетическую, как пространство культурной работы, экономическую, устанавливая стоимость отобранных экспонатов или права на осмотр, наконец, мистическую, возводя все экспонируемое в ранг Искусства. Но, пожалуй, важнейшим *work in situ* в музее являются хранение, коллекционирование и укрытие, поскольку эта работа наполняет, строит тело музея. Как отмечает Д. Бюрен, Музей, как правило, покупает, сохраняет и коллекционирует с целью экспонировать, в то время как Галерея — с расчетом перепродать. И, далее, выполняя функцию хранения, Музей закрепляет идеалистическое представление о сущности искусства, заявляя, что искусство (может быть) — бессмертно. Помимо хранения, Музей коллекционирует, придавая работе исторический и психологический вес, который подчеркивает определяющую роль ее опоры (Музея / Галереи). Если выставляются работы разных художников, создавая конфронтацию, Музей создает контекст для их значимости. Если же выставляется коллекция работ одного художника, Музей делает акцент на внутренней неоднородности его творчества и настаивает на выделении в нем успешных и провальных работ. Но Музей служит и укрытием. Любое произведение искусства, пишет Д. Бюрен, стремится к тому, чтобы его сохранили, включили в коллекцию и защитили, отобрав среди прочих, по каким-либо причинам из Музея исключенным. Итогом становится обманчивое обстоятельство, что любое произведение искусства впадает в иллюзию самодостаточности, скрывая под фактом экспонирования идеологию отбора, экономический интерес и манипуляцию «взглядом» посетителя. Об этой иллюзии самодостаточности, накрывающей предметы не-искусства, обыденные вещи, но выставленные в музее, пишет, правда, в своем контексте, и Борис Гройс. «У этих предметов не было предыстории, и они не были ранее легитимированы религией или властью. В лучшем случае их можно было считать символами простой, повседневной жизни с неопределенной ценностью. Для них вхождение в историю искусства означало валоризацию, а не обесценивание» (Гройс, 2009). Мы полагаем, что в отношении отобранных экспонатов и в музеях памяти работает тот же механизм валоризации. Но если в первом случае галереи для этого необходима концептуальная идея куратора, то во втором случае музея памяти волшебный эффект сакрализации отдельных предметов создается аутентичностью принадлежащих вещей меморизируемых субъектов, а также эмерджентным смыслом в процессе маршрута-повествования, создающего рамку меморизации.

¹ Музеи были самой консервативной частью человеческого культурного наследия. Временная дистанция от события, период накопления и отсечение несущественных музейных предметов, неспешное осмысление содержания и смысла экспозиций всегда были положительной практикой музеев. Но в стремительно меняющемся мире, музей должен реагировать на изменение ситуации и соответствовать новым реалиям. Новое поколение молодых людей, потенциальных посетителей музеев, выросло в новой специфической среде, где уходят в прошлое вербальные знаковые системы и преобладают визуальные впечатления. Язык картинок, предметов, цвета, современный культурный фон становится визуально ориентированным и это сближает музейное пространство и подрастающее поколение.



Сюжет репрезентации вне искусства требует прояснения, поскольку коллективная интенция, основывающаяся на потенциале социально-коллективной памяти, принадлежит актерам с определенной задачей, мобилизующей их меморацию. В критическом дискурсе эта задача строится с учетом спорной невозможности саморепрезентации десубъективированного индивида, приговоренного обстоятельствами. Если Мишель Фуко и Жиль Делез утверждают в известном диалоге «Интеллектуалы и власть» свободу от инстанций репрезентации, то Гаятри Спивак принципиально обосновывает невозможность саморепрезентации ограниченного в правах индивида. Она вводит важное различие в своем анализе — репрезентации как *Darstellung* (собственно изображение) и *Vertretung* (представление, представительство в политическом смысле). Насколько эти идеи релевантны для репрезентации афганских событий в музеях-клубах? Моральное оправдание апелляции к общественному мнению, с одной стороны, подпитывается императивом помнить о погибших, но, с другой стороны, кого оно в итоге предьявляет, репрезентирует? Эта идея репрезентации как «говорения от имени» представляется важной и в контексте афганского опыта, поскольку служит смысловым оправданием практик меморизации тех, кто погиб, и тех, кто жив, но нуждается в идеологической помощи по присвоению не однозначно оцениваемого сегодня социально-исторического опыта войны — «защиты интересов государства», «конфликта», «братской помощи», «ввода контингента», «борьбы с империалистами» и т.д.

Важным фреймом музеификации темы Афгана является преемственность военных потерь в российской истории, но также немаловажен и свой социально-политический и культурный контекст, в котором осмысляются индивидуальные смерти и коллективная судьба. Дискурсивный ряд оправданий для этого сюжета — долг перед родиной, интернациональный долг, размываемые в итоге в обобщенном понятии патриотизма, и собираемые вновь в жизнеспособном для поствоенной действительности конструкте воинского братства. Возможно, с Афганской войны и уже для чеченских последующих конфликтов становится неоспоримой связь с государственной политикой, но при этом обнаруживается дефицит идеологического оправдания. Соответственно эта задача ложится на плечи тех, кто пассионарно озабочен публичной символизацией армейских потерь, публичным конструированием семиотического контекста, способного придать гибели солдат социальную и личностную значимость, ветеранов и матерей погибших. В цитате из интервью с директором музея в Перово (Москва) рефреном доносится мысль о том минимуме меморативного воздаяния, которое стало возможным благодаря усилиям нескольких активных ветеранов, а также об ауто-адресате этого музея:

мы решили: ну вот, а что он будет пропадать, давайте музей сделаем, ну, хотя бы для себя... мы решили 23 человека таких увековечить хотя бы в этой комнате.

Продуктом деятельности самих участников, ветеранов стали мужские музеи, матерей погибших — женские ритуалы утраты (об этом пишут Ушакин, 2009; King, 1998). Эти две группы выстраивают различные групповые идентичности, основываясь на присущих им практиках перевода опыта/утраты на язык публичных ритуалов, коммуникационных обменов. С точки зрения А. Кинга, из этих двух групп боевые товарищи имеют больше возможностей и символических ресурсов для участия в коммеморации. Боевые товарищи чувствуют долг и ответственность перед погибшими за увековечение памяти о них. Родственники погибших ощущают невосполнимость потери близкого человека. Участие в ритуале коммеморации дает им возможность хотя бы отчасти получить сопереживание общества через признание символической значимости их утраты (King, 1998. P. 90). Гендеризованное различие практик меморизации осуществимо на основе конфигурации публичных ритуалов: если у матерей — попытки дискурсивно оформить свою жизнь после потери сыновей, найти в жизни место для смерти (вновь С. Ушакин), то у ветеранов — найти веские причины для оправдания смерти товарищей. Отчасти можно говорить о позитивизации утраты, в терминах Славы Жижика, — превращении негативно-драматического опыта в тот или иной вид положительной деятельности (солидарность

внутри группы меморизации, взаимопомощь, благотворительность, поиск социальных связей с другими поколениями и т.д.). Н. Данилова подчеркивает эффект сакрализации, на ее взгляд, «высокая значимость сакрализации погибших... закономерна в ситуации неопределенной оценки войны, а также ограниченных политических возможностей для защиты интересов группы» (Данилова, 2005). В деятельности по увековечению памяти погибших она видит для оставшихся в живых единственный легитимный инструмент позитивного определения своего статуса.

Для организации внутримузейного пространства афганской темы важны ее репрезентирующие вещи — дискурсивные соматизации, которые локализуют и описывают, т.е. воплощают военный опыт. Эти репрезентации находят свое выражение в образах индивидуального или коллективного тела. Личная вещь, коллективная фотография, диорама боя — телесно-вещные проекции пережитого, которые действуют как соматический проводник, позволяя транслировать и опосредовать заключенные в них эмоции. Возможно ли считать их без комментария, будут ли они интересны посетителю, не связанному лично с темой Афгана, сможет ли группа поколенчески далеких от тех событий школьников воспринять трагедию другого поколения? Ответы на эти вопросы зависят уже от институциональных факторов востребованной или незамеченной современной музейной культуры. Препятствием музейной образце репрезентации военной темы, прежде всего, Второй мировой, жидился на неизменных пафосных основаниях коллективного смысла, который подпитывает идеологические основания участия, смерти и оправдания для многих поколений. Этот образец пафосной меморизации может быть востребован в данном аналитическом случае лишь отчасти, хотя между ними есть очевидная связь. По мнению одного из наших респондентов, Владимира Н., солдата-участника афганской войны, коррозия пафоса в отношении коллективной памяти о Великой Отечественной у молодых поколений ложится тенью и на отношение к афганской войне:

Мне кажется, что наверно, это особо-то и не интересно слушать. Не знаю, так кажется. Ну, не всем, конечно, есть молодежь, которая интересуется. Если бы я, быть может, был бы какой-либо офицер, а я же простой солдат. А почему мне кажется, что не хотят? Меня просто всегда убивает и поражает, что сейчас молодежь не знает, кто выиграл нашу отечественную войну. Я вообще, преклоняюсь перед ними. Я очень люблю этот праздник, очень сильно люблю. И я просто возмущен, что они не знают, кто победил.

В нашем случае так же важно обратить внимание не только на серию вещных объектов, соматизирующих пафос и утраты, — на само желание локализовать свидетельство утраты в повседневной жизни. Желание сформировать и политизировать набор меморизирующих практик и объектов могут поддержать эмоциональную привязанность к утраченному. Но если речь идет не только о матерях погибших, ветеранах, вспоминающих свой опыт, но и посетителях в целом, то в игру вступают общие правила музейного дизайна, маршрутизации, сценария рассматривания и т.д. Их деконструкция и обнаруживает сложный баланс, поиск хрупкого равновесия между неотчуждаемой ценностью личного опыта и задачей строительства пафоса как коллективного резервуара смысла афганской кампании.

Экспозиция музея: визуализация скорби и подвига

Небольшое пространство **музея в Перово** (Москва) — всего 177 квадратных метров, примерно две средние объединенные квартиры — делает нарратив поневоле лаконичным и насыщенным. Смысловые фрагменты экспозиции отделяются друг друга разными цветовыми решениями — красное, черное, хаки...

Помимо цвета, меняется и тональность рассказа. Так, советская политическая реальность представлена в нем в красном цвете и с изрядной долей иронии (Фото 1).

Это пространство, наполненное бесконечными вымпелами, знаменами и памятными знаками, с небольшим бюстом Ленина по центру. Можно сказать, что это буквализация понятия «Красный уголок», в котором сконцентрировалось советское государство —



Фото 1

ну Советского Союза и говорил “За мной нет ни одного солдата”...» (Виталий Григорьевич, подполковник)

Изображение в музее этого моста, переходящего из плоского пространства картины в трехмерное пространство «реальности», создает важный эмоциональный эффект, призванный сделать и саму войну не просто «репрезентацией», темой экспозиции, но вещественной реальностью, затягивающей в себя посетителя и предполагающей его сопричастность.

За мостом и границей с необходимостью должен появиться какой-то образ «Другой Страны», мира «по ту сторону», в который попадали советские военные. Эта часть экспозиции, по идее, должна нести очень важную смысловую нагрузку, разъясняя, против

нечто формальное, симуляционное, бюрократическое, с выхолащенной однообразной символикой. Таким образом, пространство, помещенное по «эту сторону пограничного столба» оказывается не безоблачными картинами мирной жизни, а своего рода политическим симулякром (Фото 2).

За столбом же начинается нежный акварельный пейзаж — спокойная широкая река, с вырывающимся из него за пространство картины мостом. Это Термезский мост, символическая граница Афганистана. Образ этого моста часто встречается в интервью с ветеранами афганской войны как важный маркер, разделяющий пространства войны и мира:

«Нас там привезли на вертолетах, высадили в Хайратоне и привезли на машинах к этому мосту. И мы находились на той стороне в Афганистане около моста, ну, почти что до обеда». (Игорь Григорьевич, старший сержант)

«Через неделю по окончании вот этого шоу, которое генерал Громов со своим сыном по Кушке, по Термезскому мосту шел в сторону

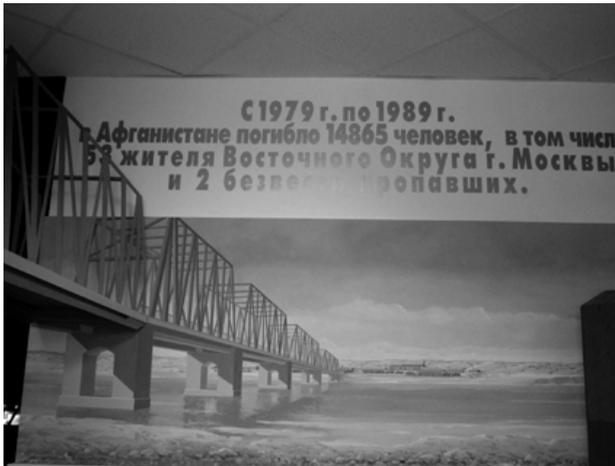


Фото 2

кого, собственно велась война. Однако этого не происходит. «Уголок Афганистана» носит невинно-краеведческий характер. Если присмотреться, можно увидеть несколько антисоветских листовок на английском, какие-то документы на пуштунском языке (не сопровождаемые переводом) и неподписанную фотографию Ахмад-Шаха Масуда. Но эти отдельные «штрихи к портрету врага» перемешаны с просоветскими афганскими плакатами и просто этнографическими экспонатами — четками, засушенными цветками хлопка, огромным Кораном и т.п. Таким образом, война показана как абстрактные военные действия на некой экзотической территории. О мотивации, идеологии, потехе противоположной стороны не говорится практически ничего. Через этот прием экзотизации и смешения воюющих сторон достигается эффект отстранения и, соответственно, снятие проблемы вины и ответственности за участие в военных действиях. «Образ врага» в этом музее, таким образом, практически отсутствует, война предстает в качестве самодостаточного феномена, «война как таковая».

Следующую зону музея можно описать как «этнографию войны». Там война овеществляется в виде набора определенного набора «военных предметов» — немного оружия, противопехотные мины, автоматы, штык-ножи, артиллерийские стволы под потолком, модели танков и БТР, письма, советские инвалютные чеки — оплата за зарубежную командировку, похоронки, награды, трофеи — всего порядка 500 единиц хранения (Фото 3).



Фото 3

Истории афганской войны здесь нет, есть образ в целом. Здесь любопытно помещение в центр одного из стендов именно чеков — хотя и на очень скромные суммы. Чеки, т.е. оплата военных действий — один из непроговариваемых, но важных аспектов участия в Афганской войне, особенно для офицеров:

«Это суррогаты денег в какой-то степени. На них можно было купить только в «Березке», и в «Альбатросах». Семнадцать-восемнадцать чеков в день... тридцать пять долларов в день. Это сумасшедшие деньги». (Виталий Григорьевич, подполковник).

Мотив денежного вознаграждения, наверное, не был бы уместен в более официальной экспозиции, но поскольку этот музей народный, организованный самими ветеранами, то такие сюжеты, находящиеся в лакунах дискурса, повествующего о подвигах и жертвах, как бы прорываются и находят свое место среди экспонатов. В данном случае, чеки фигурируют в качестве личных вещей погибшего солдата, и важную роль в музей-



ном нарративе играет как раз ничтожность суммы — двадцать рублей, десять копеек — которые выглядят в этом контексте как цена человеческой жизни (Фото 4).



Фото 4

Центральная зона и эмоциональный фокус музея — это стена скорби. Некоторые из павших на войне удостоены специальных фрагментов экспозиции, но основная часть — погибшие из московского района Перово, в котором находится музей, уравниваются в виде галереи фотопортретов — черной панели на светлой стене. Эффект сопричастности достигается также за счет простого, но удачного эмоционального решения — в центре между фотографиями павших находится зеркало такого же формата, что и фотографии. Таким образом, транслируется четкое послание — ты мог бы быть среди них. За счет таких эмоциональных ходов преодолевается материальная бедность этого небольшого музея, который, по словам директора, трудно насыщать экспонатами:

«просто что мы успели собрать у матерей тех, которые ушли, целые семьи ушли уже из жизни, они отдали и награды своих детей и фотографии... Не у всех матерей даже были личные вещи. Вот он ушел — похоронка, орден и одна фотография его в военном обмундировании, потому что не успевали фотографироваться, и не было фотоаппаратов тогда» (Директор музея).

Центральным элементом «Зоны выживших» служит манекен в тельняшке, голубом берете, с протезами на руке и ноге и с гитарой. Так тема скорби логически переходит в тему горечи, возникающей при взгляде на модель дефрагментированного тела ветерана. Как фигура умолчания в музейном нарративе возникает государство, посылавшего своих детей на гибель в неизвестную страну за несколько чеков и затем бросившего уцелевших выпрашивать деньги в подземных переходах. И в то же время только государство может придать смысл и самой этой странной войне в неизвестной стране, и ее жертвам (Фото 5).

Экспозицию завершает газетная вырезка с крупно набранным заголовком: «Мы защищали интересы



Фото 5



Фото 6

государства». Противоречивые отношения ветеранов с государством придают экспозиции музея скрытый драматизм, не проговариваемый в явной форме, но прорывающийся, возможно, помимо воли его создателей (Фото 6).

Однако современная музейная культура предполагает, что музей должен быть не только драматичным, но и занимательным. Некоторые элементы экспозиции явно обращены больше к юным посетителям музеев, преимущественно мальчикам, на которых потенциально возложена необходимость военной службы в будущем и которым вменено интересоваться военной техникой. Там также присутствует экран для показа фильмов и видеоклипов по теме, и обычно экскурсия начинается как раз с демонстрации клипа на одну из известных песен об Афганистане (Фото 7).

Мальчикам позволяет, и даже поощряется брать в руки оружие и фотографироваться с ним. Это обстоятельство делает музей еще и игровой площадкой, которая предполагает патриотическое воспитание в адаптированной для подростков форме.

Через игры с оружием осуществляется диалог мужчин разных поколений и транслируются формы милитаризованной маскулинности (Фото 8).

Если обратиться к артефактам музейной экспозиции, посвященной Афгану, другого музея — **Одинцовского краеведческого музея** — мы обнаружим содержательно преемственные шаги по выстраиванию визуального ряда прошедших событий. Визуальность экспозиции решает те же задачи описания контекста и солдатского быта, которые создают этнографическую занимательность. В диорамах Одинцово мы вновь встретим феномен самодостаточной войны с невидимым или спрятанным врагом. На следующем снимке (Фото 9) предложенный взгляд на афганский пейзаж имеет прикладной характер: для выбора удобной позиции для обстрела. Правда, в качестве объекта на мушке те же маши-



Фото 7



Фото 8



Фото 9

ны, в которых перемещались и российские солдаты, порождая абсурдное впечатление: кто же с кем воюет.

Есть в Одинцово и свой красный уголок, как в Перово. На фото 10 то пространство решено в классическом для советского офицера жанре доски почета, превращенной в красный угол. Пафос усиливается звездой с имитацией Вечного огня. Символические слагаемые визуального ряда работают на метафору героизма сынов родины, отдавших свои жизни за... И в то же время недостаток пространства, скорее всего, объективный, как и в Перово, угловая конструкция доски почета и миниатюризация пафосных объектов типа Вечного огня создают

впечатление уюта, «катакомбности» переживания. Идея пафосного увековечения, но в небольшом кусочке пространства разрушает пафос, не востребованный публичностью. Сюда приходят ... матери погибших солдат. В экспозиции об этом сказано в следующих словах: «В зале музея также создан мемориал одинцовцам, погибшим на полях сражений в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Беслане — всего 55 человек. Сюда приходят матери погибших мальчишек, совсем еще юных, только начинавших жить... Для матерей этот зал — место, где они могут помянуть своих сыновей и хоть ненадолго облегчить свое горе, которое не забывается». Таким образом, миниатюризация пафоса встречается с интимностью переживания горя у близко причастных.

Из информации о клубе-музее «Патриот», единственном в городе Оби, можно узнать, что в его создании принимали участие не только ветераны боевых действий, но и жители города. Его экспозиция «раскрывает жизнь и подвиги солдат при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, а также жизнь и дела участников боевых действий в настоящее время». Коллекция музея пополнялась вследствие широкого народного участия также школьниками города, которые подарили музею модели военной техники, собранные своими руками. Собраны и представлены модели 9 образцов боевой техники — вертолеты, танки, БТР, БМП, машины с солдатами. Сюжет из новостей музея: «Не так давно из столицы Афганистана города Кабула, ребятами, охраняющими Российского посольство, для музея была передана медная тарелка с изображением символики Афганистана и Российской Федерации». Как название музея — клуб «Патриот», так и школьные инициативы с моделированием военной техники передают выбранное направление музеификации афганского сюжета в Оби: моделирование, реификация военной машинерии, занимательность которых для школьников подменяет сюжет об истории, смыслопроизводстве и переживании. Но, с другой стороны, соединяет тему патриотизма, ведущего направления молодежного воспитания, с милитаризованным контекстом школьного кружка «умелые руки».



Фото 10

Ниже приведен довольно редкий коллективный снимок ветеранов на фоне экспозиции в Одинцовском клубе-музее «Патриот». Представленные на нем персонажи — вете-

раны Афганской войны — и организаторы, и видимые адресаты той работы памяти, которая осуществляется в этом музейном пространстве (Фото 11).



Фото 11

Несколько уже немолодых мужчин, некоторые с орденами и медалями, и «говорящим» контекстом, классическая коллективная фигура на фоне, смысл которой порождается в отсылке друг к другу. Следующий снимок — уже без персонажей, стенды с перепиской, публикациями, дневниками, фотографиями, — слеп без проводника человеческой фигуры, без звучащего рассказа экскурсовода (Фото 12).



Фото 12

Пожалуй, на примере Одинцовского кейса можно заключить, что самодеятельность памяти участников событий, не будучи соединенной с визуальным дискурсом, осуществляющим медиацию памяти о войне, делает память герметичной, открытой лишь носителям опыта и переживания. Не случайно в стратегии витализации памяти об Афгане его организаторы обратились к игровому элементу школьного моделирования.

Таким образом, экспозиции нескольких музеев — перовского, в Оби, Одинцовского музея — создают как бы два пласта дискурса — явный, официальный, и скрытый, находящийся в подтексте. На первом плане находится идея «защиты интересов государства», задачи патриотического воспитания молодежи на примере героев-афганцев и овеществленный ритуал скорби по павшим воинам. Однако второй пласт, прочитывающийся в лакунах и умолчаниях, но отчасти и в самом музейном нарративе, говорит о другом: о «странной войне» неизвестно с кем и неизвестно во имя чего. И этот подтекст намекает на то, что



никто из посетителей, отражающихся в зеркале, не может быть гарантирован от того, что его фотография тоже не встанет в свой ряд среди погибших — как будто действует некий неупоминаемый, но подразумеваемый механизм, периодически отправляющий людей на войну. Так что «афганский» музей, хотя и является ареной игр мальчиков с оружием и моделями боевой техники, нельзя в полной мере назвать милитаристским, призванным поддержать боевой дух, — по сути, это музей фатализма, говорящий о том, что ситуация войны в жизни людей обречена воспроизводиться сама собой и собирать свой урожай юных и невинных жертв без всякой ясной закономерности — готовых участвовать в боевых действиях вообще — куда родина пошлет.

Заключение

Основная задача музея — придание смысла, выстраивание из вещных объектов осмысленного нарратива. В случае музеев войны в Афганистане, встает закономерный вопрос кто является адресатом этого нарратива?

В первую очередь, это, конечно, сами ветераны Афганской войны и их близкие (особенно матери погибших), для которых такие музеи служат не только местом памяти и скорби, но и своего рода легитимацией самой этой «странной войны», которая зачем-то была нужна государству. В экспозициях этих скромных музеев логика репрезентации выстраивается так, чтобы снять болезненный вопрос о том, с какой целью и против кого велись боевые действия. Человеческие жертвы и лишения, которые претерпели выжившие ветераны, делают такие вопросы как будто неуместными, или, во всяком случае, снимают вопрос об ответственности самих участников войны.

Но этот нарратив предполагает и других адресатов — в институционализированном воспоминании о любом историческом катаклизме, особенно о войне, всегда незримо присутствуют воображаемые, подразумеваемые оппоненты — «мнемонические другие» (Lambert, 2002; Zerubavel, 1997). Для музея Афганской войны такими другими, очевидно, являются две категории возможных участников дискуссии об этой войне: так называемые «либералы-демократы», т.е. люди, в принципе осуждающие эту войну как захватническую и несправедливую, и «равнодушные обыватели», т.е. люди, вообще не интересующие ни этой войной, ни судьбой его участников. Обе эти категории достаточно часто всплывают в интервью с ветеранами:

«если говорить о всем том, что творилось в нашей стране, то мы достаточно серьезно услышали от так называемых средств массовой информации и от так называемых демократических средств, что мы убийцы, негодяи». (Виталий)

«вот, в метро ты едешь, могли тебя охаять в метро, да ты, там, этот, такой-сякой, да вы все дармоеды, мы вас кормим...» (Владимир)

В музее эти оппоненты не присутствуют и не упоминаются в явной форме, но сама логика музейного нарратива предполагает скрытую полемику с ними — полемику, в которой присутствуют и рациональные, и эмоциональные аргументы. Критическая по отношению к войне в Афганистане точка зрения преодолевается за счет полного исключения альтернативных свидетельств — мы не найдем ни в одном из этих музеев никаких материалов, которые подрывали бы концепцию войны как истории самопожертвования и мужества, ничего о жертвах и потерях противной стороны, ничего о внутренней политике Афганистана. «Афганские музеи» — это такой способ сохранения коллективной памяти, который, в условиях дефицита официальных источников информации об этой войне, задает рамку того, о чем следует помнить, а о чем забывать.

Любая память подразумевает ответственность (Poole, 2008), и, таким образом, главная задача афганских музеев состоит в том, чтобы переопределить эту ответственность за участие в бессмысленной и достаточно кровопролитной войне в терминах патриотического долга, ответственности перед Родиной и будущими поколениями. Поскольку характер этой войны таков, что довольно сложно представить ее в традиционных, сак-

ральных терминах «защиты Родины», то обращение к следующим поколениям состоит в том, что и они должны быть готовы к войне и подвигу, который представляет собой самоценность, во имя чего бы он ни совершался.

Сами ветераны в интервью стараются найти формулу для этой ответственности:

«Это военные же люди, им везде, куда прикажешь, должны своих людей посылать для того, чтобы хотя бы обозначить наше существование. Наше государство тоже имеет свои интересы. В этом мире все заключается в том, что каждое государство имеет свои интересы: это и экономические, и политические. Поэтому начинают все политики, а заканчивают военные, если не получается у политиков и именно у людей, которым надо договариваться». (Директор музея)

«Но мы понимали и другое, это звучало и на партийных собраниях, и на собраниях, связанных просто с боевыми действиями, что если мы не выполним эти задачи в отношении Афганистана, то следующие окопы мы будем копать в районе Гурьева». (Виталий Григорьевич).

Что же касается «равнодушных», то обращение к ним носит эмоциональный характер — «вы можете не понимать целей войны, но безнравственно пренебрегать страданиями и безвременной смертью молодых людей, таких же, как вы...» Зеркало в ряду фотографий погибших служит, наверное, самой яркой метафорой этой идеи.

Интересно, что, судя по характеру экспозиции и интервью, представители мусульманского мира и собственно жители Афганистана не мыслятся ни как оппоненты, ни как возможные адресаты дискурса. Враги чрезвычайно удалены и объективизированы, они вообще не в фокусе, точнее сказать, они как раз помещены в «зону умолчания». Надо сказать, что это далеко не единственная зона умолчания в музее. Так, несколько стендов посвящены жизни ветеранов после войны, но они содержат в основном афиши различных патриотических фестивалей, фотографии с конкурсов военной песни и т.д. Вообще, творческой деятельности бывших «афганцев» уделено большое внимание — многие из них потом пытались осмыслить свой опыт в стихах, прозе и музыкальных композициях. Однако музеи ничего не говорят об участии в политике, в выборах в Думу, о предпринимательской деятельности, в которой ветераны Афганистана также были очень активны.

Музеи позволяют увидеть, насколько память подвержена различным системам социального контроля, существующих в разных сообществах. И именно в рамках этих систем контроля коллективная память экстернализируется и становится институциональной, «вещной» реальностью.

Еще один очень важный адресат музейного нарратива — то самое подрастающее поколение, которое надо «учить патриотизму». Афганцы как бы претендуют на символическое место ветеранов, очень важное в отечественном идеологическом дискурсе. Поэтому им важно утвердить свою роль как — 1) мужественных героев; 2) юных жертв, которых жалко (мальчики, такие же, как вы...); 3) компетентных военных профессионалов, которые обладают важной информацией, востребованной и сегодня. В интервью директор музея в Перово связывал эту необходимую компетентность с тем, что и сегодня происходят военные действия и теракты:

«И как бы ни говоришь это все сегодняшним школьникам, они это не воспринимают, но вот когда начали рваться, те ребята, которые были в музее... Я просто уже знаю, что кто побывал здесь в музее, я рассказывал про мины, они уже столкнулись на станции метро, да... Они как раз заканчивали училище метрополитена и, естественно, ехали вот в тех вагонах метро, которые недалеко взорвались. Ну, и они оказывали помощь даже». (Директор музея)

Профессионализм участников войны подчеркивается и тем, что воевали они хорошо, эффективно, избегая излишних жертв:



«Естественно, все это в цифрах выдается — начинаешь осознать, что за 9 лет войны мы народу потеряли не так уж много, по сравнению с тем, что сейчас происходит». (Директор музея)

Все эти дискурсы, позиционирующие воинов-«афганцев» то как самоотверженных героев, то, как безвинных жертв военной машины, то как умудренных опытом грамотных военных, не так уж хорошо сочетаются между собой, более того, в потенциале могут подрывать друг друга. Но все они необходимы именно для утверждения универсального образа новых ветеранов, приходящих на смену поколению ветеранов Великой Отечественной — носителей особого, сакрального типа авторитета, гражданского и маскулинного. Именно в таком качестве создатели музеев хотели бы представить сообщество «афганцев».

Таким образом, музей как акт коллективной памяти служит важным источником формирования идентичности ветеранов войны в Афганистане, укрепляет их солидарность и помогает обрести свою позицию в социальном и политическом пространстве современной России — между историей и мифом, гордостью и горечью, памятью и забвением.

Литература

- Бюрен Д. (2009) Функция Музея // Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/73-74/museum-function/>
- Гройс Б. (2009) Куратор как иконоборец // Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/73-74/kurator-ikonoborec/>
- Данилова Н. Мемориальная версия Афганской войны (1979-1989 годы) // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41).
- Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997.
- Кабаков И. Интровертное видение (интервью Виталию Пацкокову) // Искусство. № 5. 2008. С. 46.
- Конрадова Н., Рылева А. Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41).
- Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории. Некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти // «Диалог со временем» / Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001.
- Ушакин С. Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли провинциальной России // Травма: Пункты / Сборник статей под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: НЛО, 2009. С. 306-345.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: В 3 ч. Ч. 1, М.: 2002. С. 66-80.
- Bann S. (1998) Art history and museums / M.A.Cheetham, M.C.Holly and K.Moxey (eds), The Subjects of Art History: Historical Objects in Contemporary Perspective. Cambridge University Press, pp. 49-230.
- Bennett T. (1995) The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London: Routledge.
- Bourdieu P., Darbel A. with Schnapper D. (1991) The Love of Art: European Art Museums and their Public. Cambridge: Polity Press.
- King A. (1998) Memorials of the Great War in Britain: the Symbolism and Politics of Remembrance. Oxford: Berg.
- Lambert R. (2002) Reclaiming the Ancestor Past: Narrative, Rhetoric and the 'Convict Stain' // Journal of Sociology, 38, 111, pp. 10-127.
- Nora P. (1989) Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // Representations. Vol. 26.
- Nora P. (1974) Le retour de l'évenement // Faire l'histoire. Vol. 1. Nouveaux problemes / Sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora. Paris: Gallimard, pp. 210-228.
- Poole R. (2008) Memory, History and the Claims of the Past // Memory Studies. 1(49), pp. 149-166.
- Spivak G. C. (1988) Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. by Cary Nelson, Lawrence Grossberg. Chicago, pp. 271-316.
- Zerubavel E. (1997) Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Коллективная память в городском пространстве: места памяти об Афганской войне

Анна Стрельникова*

Аннотация

Современный город охватывает все этапы человеческой жизни, служит ареной для социальных взаимодействий и хранилищем свидетельств о значимых исторических фактах. Городское пространство — это также ресурс для реализации разного рода жизненных потребностей. Коллективное «потребление» города проявляется в опыте изменения пространства, а также в символическом восприятии тех или иных городских мест. В данной статье мы рассматриваем город как пространство, в котором представлены знаки коллективной памяти об одном из важных событий недавнего прошлого — об Афганской войне 1979–1989 гг. Мы анализируем контексты создания памятников, посвященных этой войне, используемую символику, функционирование памятников и их роль в конструировании коллективной идентичности воинов-афганцев. Мы предлагаем рассмотреть особенности использования городского пространства для передачи памяти об Афганской войне, опираясь на результаты коллективного проекта «Историческая память» (интервью с воинами-афганцами, фокус-группы со студентами), а также используя анализ тематических материалов интернет-пространства (новостные ленты, виртуальные фотоальбомы со снимками афганских памятников, сайты афганских организаций).

Ориентиры памяти

Как официальная, так и неофициальная меморизация тех или иных городских объектов, от макро- до микроуровня, отражает связь между прошлым и настоящим, при этом память, которая «застывает» в пространстве, является и ориентиром в социально значимых событиях, и продуктом отношений людей с местом обитания. Коллективная память имеет в арсенале реальные живые воспоминания (если речь идет о событиях недавнего прошлого), почерпнутые из неофициальных источников факты, мнения, не согласующиеся с официальными версиями, результаты собственных длительных размышлений людей относительно пережитых событий. Таким образом, создание памятных мест (мемориалы, особые места встреч) можно назвать способом символической реконструкции определенного взгляда на прошлое. При этом то, как представлен отрезок времени в визуальных образах, имеет важное значение для коллективной идентичности.

П. Нора говорит о том, что наше время можно назвать переломным в способе организации памяти, «мемориальной эпохой». Среди основных характеристик этой эпохи он выделяет феномен ускорения истории, который разрушил «единство исторического времени, красивую прямую линию, соединявшую прошлое с настоящим и будущим... представление, которое любая нация, группа, семья имела о своем будущем, диктова-

* Стрельникова Анна, ст.н.с. ИС РАН, nenauka@gmail.com



ло ей, что она должна удерживать из прошлого, чтобы подготовить это будущее; именно в этом заключался смысл настоящего, бывшего лишь связующей нитью». Но сейчас, как отмечает Нора, над будущим нависла абсолютная неопределенность: «...невозможность предвидеть будущее, в свою очередь, ставит перед нами обязательство благоговейно и неразборчиво собирать любые видимые знаки и материальные следы, которым предстоит (может быть) стать свидетельствами того, что мы есть или чем мы были» (Нора, 2005). При этом, по мнению П. Нора, память о военных действиях конструируется (и реконструируется) наиболее активно, поскольку всегда мобилизует разнообразные дискурсы и практики в репрезентации события.

Важно отметить, что в процессе вспоминания всегда происходит взаимовлияние индивидов друг на друга: память окружающих побуждает, подталкивает к активизации собственной памяти, служит для нее опорой. Пребывая большую часть времени в бессознательном виде, воспоминания вновь становятся сознательными лишь при поступлении импульса «вспомнить все». Рамки памяти, о которых идет речь в одноименной работе Хальбвакса, — есть «результат, сумма, сочетание индивидуальных воспоминаний множества членов данного общества» (Хальбвакс, 2007. С. 29), которые помогают классифицировать памятные сюжеты. Исчезая или трансформируясь, рамки памяти влекут за собой аналогичные процессы, происходящие с нашими воспоминаниями. Хальбвакс выделяет два типа связи рамок памяти и воспоминаний: первый — по аналогии рамы картины и помещенного в нее холста, и второй — тождественность природы рамки и вспоминаемого события, когда события являются сутью воспоминания, а рамка в свою очередь состоит из воспоминаний. Во втором случае воспоминания являются более устойчивыми, всегда легко дифференцируются и их удобно использовать для реконструкции других воспоминаний. Хальбвакс описывает процесс вызывания воспоминаний как мысленное перебирание разных периодов времени (как пустых рамок) и постепенное углубление в прошлое, начиная с определенного года, затем месяца и дня. Подобная локализация воспоминаний способствует проявлению и узнаванию совершенно неожиданных сюжетов, это размышление, уже заключающее в себе какие-то идеи, помогающие в дальнейшем процессе меморизации. Рамки, позволяющие реконструировать прошлое, являются общими для членов одной группы, обладающих схожими воспоминаниями.

Места памяти и контексты создания памятников

В работе «Проблематика мест памяти» П. Нора заявляет о прекращении существования памяти и объясняет растущий интерес к местам памяти попыткой сгладить ощущение разорванной памяти (Нора, 1999). Места памяти (музеи, архивы, монументы, коллекции), по мнению Нора, существуют лишь потому, что память социальных групп перестала воспроизводиться так, как раньше. Охраняя свидетельства о прошлом, места памяти призваны поддерживать существование сообщества. Эти «точки опоры» несут в себе материальный, символический и функциональный смысл.

Отметим, что само материальное и символическое конструирование памятников, посвященных военному прошлому, контекстуально связано с целым рядом внешних факторов, таких, как текущие культурные предпочтения, идеологические и политические аспекты, и т.д. Можно сказать, что «память людей зависит от тех групп, в которые они входят, и от тех идей и образов, которыми более всего интересуются эти группы» (Хальбвакс, 2007. С. 180). При этом постепенно вырабатывается определенный «канон» увековечивания трагических событий. Так, по данным ВЦИОМ, для большинства россиян главными символами памяти о Великой Отечественной войне являются: скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве, памятник воину-освободителю в Берлине и памятник советскому солдату-освободителю в Болгарии «Алеша» (Сайт ВЦИОМ). Очевидно, что данные контексты «освобождения» и «спасения» неприменимы к афганской войне, поскольку речь идет о меморизации «неге-

роического военного конфликта» (Данилова, 2005). Поэтому неудивительно, что в ходе наших интервью с ветеранами-афганцами упоминания об афганских памятниках были единичными и, как правило, вне связи с их «использованием», т.е. безличными: *«Ну, у нас был там в Орехово-Борисово памятник. Сейчас в школу перенесли».*

Исключение составляет один случай, когда памятник использовался для встреч возле него, и у афганцев возникли ограничения в использовании памятника: *«Мать одного из наших ребят — она директор школы... пробила то, чтобы... памятник стоял на территории школы, вот. Единственное, что нас ограничили немножко, э, в свободном, так сказать, посещении. Ну, как ограничили, не то, что, там, пожалуйста, приходи в любой момент, там, можешь положить цветы там, просто, но, вот, чтоб какие-то мероприятия проводить только в те дни, когда там не бывает занятий, потому что, ну, вот, после взрыва на Котляковке, ну, власти побаиваются все-таки, что может что-то повториться, ну, чтоб не погибли дети, вот нас. Если какие-то мероприятия около памятника, то в то время, когда там нет детей в школе».*

Этот случай наглядно показывает, что афганцев воспринимают с точки зрения опасности, и стараются исключить их из своего пространства.

Характерно, что в фокус-группе с поколением восемнадцатилетних при обсуждении первых спонтанных представлений об Афганской войне было упомянуто о заброшенности памятников:

«когда звучит вообще словосочетание “Афганская война”, первое, что приходит в голову — это, во-первых, заброшенные памятники, неухоженные, солдатам, которые погибли в Афганистане».

Примечательно, что это увязывается с необходимостью организованного забвения неудачных военных действий:

«государство после того, как закончилась эта война, пытается как-то, не знаю, похоронить наши какие-то знания и воспоминания об этой войне, потому что как-то негативно нами воспринимается, потому что она была проиграна, потому что мы не добились в ней успеха и потеряли очень много людей» [Материалы фокус-группы].

Таким образом, во множестве различных «коллективных памятей» память об Афганской войне не занимает устойчивой позиции. В свою очередь, это может быть связано с достаточно размытой и противоречивой идентичностью воина-афганца. Так, результаты интервью говорят о том, что многим респондентам удобнее отождествлять себя с десанниками и отмечать день ВДВ — наравне или даже вместо даты вывода войск из Афганистана:

«Я хоть и сапер, но второе августа отмечаю (смеется.) Для меня это как-то порой больше праздник», «Второе августа обязательно собираемся. День ВДВ... с братом».

Результаты фокус-группы со студентами разворачивают причины такой разорванной идентичности:

«Получилось так, что война затерялась между известными нам, между Второй мировой и Чеченской. Если Вторую мировую войну мы, в принципе, по определению, должны знать хорошо, и мы понимаем, за что мы воевали и почему, с Чеченской тоже более-менее все понятно, а вот Афганская война, действительно, она затерялась, проходила не на нашей территории, и, ну, плохо понятно, зачем она нужна была и почему».

Индивидуальная память может опираться на коллективную для уточнения какого-либо воспоминания или восполнения пробелов. «Обмен историями» и их последующая модификация производится до тех пор, пока у всех членов группы не окажется примерно одинаковый набор схожих историй, базируемых на отдаленно схожих фундаментах личного опыта. Это происходит благодаря тому, что заимствованные воспоминания соответствуют фоновому эмоциональному ощущению индивида, связанному с тем событийным рядом, к которому относятся данные воспоминания.

М. Хальбвакс выделяет два доступных индивиду типа памяти: сугубо личные переживания, даже если они в какой-то мере были разделены с другими индивидами; и безличные воспоминания, затрагивающую группу, к которой данный индивид принадлежит (Хальбвакс, 2005). Коллективная память развивается по собственным законам, и даже



если в нее порой проникают некоторые индивидуальные воспоминания, они быстро видоизменяются, переставая быть сознанием личности. Она содержит не только даты и абстрактные определения (в таком случае она оставалась бы внешней по отношению к индивиду), но и определенные оценочные категории, а также эмоциональную составляющую. При этом неизбежны обновления и пополнения индивидуальных воспоминаний по мере вовлечения в те или иные группы.

Первоначально сцена из прошлого может казаться ясной и полной, не требующей никаких дополнительных разъяснений, но лишь до того момента, пока не встретится человек, ставший участником или свидетелем тех же событий, поскольку «совершенно невозможно, чтобы два человека, видевших один и тот же факт, рассказывая о нем некоторое время спустя, воспроизвели его одинаково» (Хальбвакс, 2005). Погружаясь одновременно или по очереди в несколько разных групп, каждая из которых имеет свою коллективную память, индивид оказывается носителем воспоминаний о событиях, имеющих значение только для членов данной группы, и чем малочисленнее группа, тем большее значение имеют для каждого ее члена коллективные воспоминания.

Собираясь вместе и обсуждая события, пережитые всеми собеседниками, участники коммуникации конструируют общую коллективную память из отдельных индивидуальных «памятей», порой неосознанно трансформируя свои воспоминания. С одной стороны, восстановленная картина прошлого может синхронизировать воспоминания с реальными событиями. Но воссозданный образ одновременно становится неточным и неполным, поскольку может происходить сглаживание (или драматизация) неприятных сюжетов, и дополнение новых черт, не замечавшихся прежде. По нашему мнению, ситуация с афганцами весьма схожа с тем, что описывает М. Хальбвакс: они «...ощущают свою непричастность к происходящему в обществе, порой даже ненужность, а потому не находят для себя иного призвания, чем воссоздание прошлого с задействованием всех тех средств, которыми они располагали и ранее, но не имели времени или желания их использовать» (Хальбвакс, 2007). В данном случае приходится говорить о том, что воспроизводство «афганской» идентичности носит непоследовательный характер, причем воспроизводство занимается в основном те, кто прошел войну с наименьшими для себя потерями:

«Если он там играет все это делал, а кто-то, наоборот, там на этом сделал карьеру, то есть он рассказывает, он переживал, да, а его все слушают, он поднимается, поднимается по лестнице»

и те, кто хочет об этом говорить, в то время как другие молчат:

«Не знаю, о чем говорить (школьникам — прим. авт.). Вы знаете, говорить правду... это в тоже время противоречить себе и государству. А лгать не привык. Ну не дай Бог, как у меня там случится», «Посидим, поговорим, друг другу выскажем все, что думаем, вот и все. На этом все и заканчивается. Ну, такие вещи потому что нельзя говорить».

Отсюда и преобладание одних вариантов коллективной памяти перед другими, и настойчивое желание показать низкую эмоциональную вовлеченность в прошлое («зачем об этом вспоминать?»). Таким образом, мы находим подтверждение тезиса П. Нора о том, что функциональная составляющая мест памяти (в данном случае ассоциаций ветеранов афганской войны), связанных с поддержанием нетипичного опыта, исчезает вместе с пережившими его людьми, и не находит преемственности среди младшего поколения.

Характеристика мест памяти об афганской войне

Места встреч афганцев в городском пространстве оказались строго локализованными и скорее приватными, закрытыми:

это их клуб: *«последний четверг месяца у нас собрание, человек семьдесят-шестьдесят собирается»*

а также Котляковское кладбище: *«У нас там афганцы похоронены, кто еще до взрыва... и взрыв там у нас был как бы... и там погибло человек девяносто... И памятник там*

стоит», «у нас святое — это Котляковское кладбище, т.е. самое большое место захоронения афганцев, вот, которые погибли в Афганистане, в Москве я имею в виду»,

и изредка другие кладбища: «в свое время, мы и с супругой ходили на Серафимовское, где есть памятник воинам в Афганистане, интернационалистам... Ну, и там есть часовенка, ставим, соответственно, свечи».

Неформальное общение друзьями происходит либо в домашней обстановке, либо в кафе: «Нет, я никуда не хожу... к... в тесном маленьком кругу посидим. Я не любитель ходить там в Парк Горького... это не для меня. А так посидим там за столом, вдвоем, втроем»,

Говоря о памятниках, посвященных Афганской войне, мы попробуем выделить такие важные характеристики, как используемая символика (общее и особенное в ней), функционирование памятников в пространственно-временных координатах города («использование» их как мест для встреч, борьба за снос/перенос памятников, вандализм, и т.д.), активные периоды установки памятников (есть ли такие периоды и с чем они связаны).

Какой-либо периодизации в установке афганских памятников нами не обнаружено. Памятники ставили и в предыдущие два десятилетия, и сейчас:

«недавно сделали памятник очень такой хороший, очень такой приличный. Тут, кстати, у дворца пионеров, новый сделали. Ты, если, мы можем доехать, он там такой стоит с автоматом. Вот недавно его открыли, по-моему, в прошлом или позапрошлом году».

Периодически в новостных лентах появляются сообщения об утрате афганских памятников: украден, разбит вандалами, нуждается в реставрации, перенесен и даже «отправлен в металлолом».

Опираясь на материалы фотоальбомов, размещенных на тематических афганских сайтах, мы проанализировали символику, используемую в памятниках. Результаты представлены в таблице.

Таблица 1. Анализ фотоальбома «Памятники Афганской войны» (фотоальбом содержит снимки памятников России и стран СНГ, адрес фотоальбома http://talykan.p0.ru/photo/pamjatniki_afganskoj_vojny/16), нами проанализировано 75 фото

	<i>Примеры</i>	<i>Общее количество</i>
<i>Символы, использованные в памятниках</i>	<i>Стелы и плиты с отчеканенными именами воинов</i>	<i>59</i>
	<i>Фигура одного солдата</i>	<i>12</i>
	<i>Композиция из группы солдат</i>	<i>11</i>
	<i>Скорбящая мать</i>	<i>3</i>
	<i>Вечный огонь</i>	<i>3</i>
	<i>Черный тюльпан</i>	<i>6</i>
	<i>Танк, другая военная техника, оружие</i>	<i>9</i>
	<i>Религиозная символика</i>	<i>9</i>
<i>Надписи, использованные в памятниках</i>	<i>Традиционные варианты «Вечная слава...», «Воинам-интернационалистам»</i>	<i>12</i>
	<i>Обращения, стихи</i>	<i>9</i>



Фото 1. Общевоенные образы. Москва
[Источник фото:
<http://onfoot.ru/photos/mos/1938.html>]

Фото 2. Общевоенные образы. Пермь.
[Источник фото:
http://talykan.p0.ru/photo/gperm_quotrazorvannoe_bratstvoquot/17-0-988]



Фото 3. Афганские образы. Курчатов.
[Источник фото:
<http://gsvg33.narod.ru/kurchatov.html>]

Фото 4. Афганские образы.
Нижний Новгород
Источник фото: <http://citycatalogue.ru/Russia/Ekaterinburg/War-history-sights/6598606>



Фото 5. Религиозные образы. Минск
[Источник фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/9/charlyshok.5/0_889a_9f33e116_XL]



Фото 6. Эклектичные образы. Луга.
[Источник фото:
http://talykan.p0.ru/photo/lugaleningradskaja_obl/17-0-1047],



Фото 7. Эклектичные образы. Кривое Озеро.
[Источник фото:
http://talykan.p0.ru/photo/pkrivoe_ozeronikolaevskaja_obl/18-0-997].



Проведенный нами анализ фотоматериалов показывает, что в архитектурном облике афганских памятников чаще всего используются традиционные для военных мемориалов символические элементы: образ военного братства, образ скорбящей матери, вечный огонь, отчеканенные списки с именами погибших: «Монумент представляет собой триумфальную арку и стелу в обрамлении восьми горельефов. Также в комплекс входит отлитый из бронзы вечный огонь и списки, в которых будут указаны 128 фамилий погибших в военных действиях и 6 пропавших без вести» (описание пензенского монумента из ленты новостей).

Кроме «общевоенных» образов, иногда используются и афганские детали, такие, как танк в камуфляжной расцветке, черный тюльпан в стилизованном или реальном виде (и как цветок, и как вертолет): «Правительством Свердловской области было принято решение создать мемориал «Черный тюльпан» — открыть памятник, посвященный погибшим на Кавказе, в Таджикистане и в других горячих точках России и стран СНГ». Здесь мы снова возвращаемся к вопросу о размытой идентичности афганцев, поскольку такое совмещение Афганской и Чеченской войны, других локальных войн, вовсе не является единичным случаем. Исследование Н. Даниловой также показало, что «участники Афганской войны символически были объединены в одну группу с участниками остальных «малых» военных кампаний как вне, так и на территории России» (Данилова, 2005). Отдельная тенденция — использование религиозных сюжетов в афганских мемориалах (маковки православных церквей, колокола, кресты), при этом порой возникают совершенно эклектичные образы. Например, в г. Луга Ленинградской области памятник представляет собой огромный каменный крест с высеченной на ней фигурой воина, а наверху креста прикреплена пятиконечная звезда; в украинском поселке Кривое Озеро вырезанный в граните образ креста плавно перетекает в образ звезды (см. фото).

Заключение

Таким образом, можно наблюдать противоречивую картину материализованных проявлений коллективной памяти об Афганской войне. Память воинов-афганцев как группы, желающей, чтобы ее воспринимали как носителя неких общих черт, общего прошлого, оказывается достаточно неоднородной и законсервированной в пределах группы. Символическое значение мест памяти об афганской войне мозаично (представлено от религиозных до поэтических мотивов) и имеет закрытый характер, то есть не поддается расшифровке теми, кто не включен в контекст афганского опыта.

Литература

- Данилова Н. Мемориальная версия Афганской войны (1979–1989 годы) // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Конрадова Н., Рылева А. Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Левинсон А. Память. Памятник. Мемориал. / Полит. Ру // Режим доступа: http://www.polit.ru/research/2004/01/06/levinson_pamjat.html
- Нора П. Проблематика мест памяти /Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М., Винок. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 17–50.
- Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Рузанова Н. Памятник афганской войны отправлен в металллом // Российская газета – Неделя – Сибирь № 5282 от 9 сентября 2010 г. // Режим доступа: <http://www.rg.ru/2010/09/09/reg-sibir/pamyat.html>
- Сайт Свердловской Областной Организации Российского союза ветеранов Афганистана имени Героя Советского Союза Юрия Исламова // Режим доступа: <http://www.rsva-ural.ru>
- Фотоальбом. Памятники афганской войны // Режим доступа: http://talykan.p0.ru/photo/pamjatniki_afganskoj_vojny/16
- Хальбвас М. Коллективная и историческая память / Тема 1: Что такое коллективная память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41).
- Хальбвас М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. М.: Новое издательство, 2007.

Новые ракурсы рассмотрения памяти: опыт молодых

Фрагментарность памяти об Афгане у последующих поколений: результаты фокус-групп со студентами

Наталья Мاستикова*

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению проблеме трансляции исторической памяти в процессе социализации. На наш взгляд, нестабильная ситуация в различных сферах жизни современного российского общества, разрыв межпоколенческих связей, недостаток правдивой информации о событиях позднесоветского периода нарушают воспроизводство исторической памяти, обостряя проблемы социализации молодого поколения. В данном исследовании на примере Афганской войны, мы пытались выяснить, что молодежь знает о таком значимом историческом событии, по каким каналам, в основном, происходит воспроизводство памяти об этом событии.

В 2010 году нами было проведено две фокус-группы со студентами первого и второго курсов факультета социологии ГАУГН, целью которых было выявить общее представление об Афганской войне, знания о ее событиях, соотношение публичного и приватного дискурса об Афганской войне. В результате исследования мы выяснили характер знаний студентов о войне и отношение к ней как объекту национальной памяти.

Рассматривая проблемы социализации в современной России, нельзя не учитывать особенности периода, совпавшего со временем личностного становления студентов, ставших объектом нашего исследования — периода трансформации политической, экономической, культурной жизни общества. В интересующем нас контексте, это время отличается неоднозначностью оценок большинства событий советского времени различными группами общества. Тем более, это касается таких острых моментов истории как Афганская война. Это историческое событие имело неоднозначные трактовки во время ее ведения, после вывода советских войск в 1989 году, однако, последующие драматические для России события (распад Советского Союза, Чеченская война, теракты и т.д.) привели к переносу интереса общественности в другие сферы.

Афганская война в динамике публичного дискурса

По данным исследования ФОМ¹ (2002) «Россия: чем гордимся, чего стыдимся?» на открытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, что именно в историческом прошлом нашей страны вызывает у Вас чувство стыда? Приведите примеры» 44% опрошенных негативно оценили события советского периода истории. Среди негативно оцененных событий этого периода на втором месте, после сталинских репрессий, респондентами названа

* Мاستикова Наталья, аспирант ГАУГН, navor@bk.ru.

¹ База данных ФОМ. Россия: чем гордимся, чего стыдимся? 14.02.2002, Опрос населения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/dd020627>



Афганская война. Там же были приведены примеры открытых ответов на этот вопрос. Среди них следующие высказывания об Афганской войне: «Афганистан — не нужная никому война»; «стыдно за Афганистан, где я служил»; «гибель солдат в Афганистане»; «вторжение в Афганистан в 1979 году»; «войну развязали в Афганистане в 80-х годах»; «события в Афганистане и их последствия»; «позор в Афгане».

Отсутствию публичного дискурса относительно Афганской войны способствовало также почти полное отсутствие научных исследований относительно этого события. Начало научным исследованиям положила монография А.А. Костыри «Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979–1989 гг.)». (Костыря, 2009) По мнению Д.Н. Верхотурова², проблемой научного изучения Афганской войны и сегодня является слабая архивная база исследований, имеется только 27 книг и статей, в которых опубликованы документы. Большинство материалов и публикаций, по мнению автора, — это литературно-публицистические, журналистские работы, мемориальные и мемуарные труды.

По данным исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Социологические исследования» в 1992 году (Кинсбургский, Топалов, 1992), были выявлены 2 крайние точки суждений и оценок афганских событий. «Патриотическая» состоит в том, что для реабилитации «афганцев» в общественном мнении необходимо, прежде всего, прекратить кампанию по их дискредитации в средствах массовой информации и затем восстановить их героический образ как защитников Родины, государства, настоящих патриотов и интернационалистов. «Либеральная» точка зрения сводится к тому, что условием реабилитации ветеранов Афганистана может быть их искреннее раскаяние, публичное покаяние за участие в несправедливой, преступной войне. Между этими крайними взглядами — множество промежуточных, переходных позиций. Противоречивость подходов к проблеме реабилитации «афганцев» в общественном мнении отражала весьма острую идеологическую и политическую борьбу различных партий, объединений и движений. Отношение к Афганской войне и ее участникам раскалывало общественное мнение на два лагеря. Оценка Афганской войны, по мнению опрошенных, не являлась однозначной ни в средствах массовой информации, ни в представлении специалистов, ни в общественном мнении.

По мнению авторов исследования, освещение войны прошло три этапа. «Неизвестная война» — период с начала афганских событий (декабрь 1979 г.) примерно до 1985 г., когда официальная информация об Афганистане была очень ограниченной, а распространение неофициальной информации (например, непосредственными участниками этих событий) было запрещено. «Героическая война» — примерно с 1985 по 1988 г., когда оценка действий советских войск в Афганистане была исключительно позитивной: описывались мужество и героизм солдат, романтика военных будней, интернациональная помощь афганскому народу. «Ненужная или преступная война» — период с 1989 г. Во многих популярных средствах массовой информации «афганцы» из героев и защитников превратились в убийц и бездельников. Сообщения об Афганской войне стали носить в основном негативный характер, появились сообщения о трудностях и неудачах армии, начали говорить о бессмысленности и бесчеловечности военных действий.

Данные приведенных исследований позволяют сделать вывод о дискуссионности афганской проблемы и актуальности ее обсуждения и в наше время.

Мы считаем важным вернуться к этой теме и выяснить, что представляют собой знания современной молодежи к Афганской войне, и каково отношение молодых людей к этой проблеме сегодня.

² Дмитрий Николаевич Верхотуров — эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА). Д.Н. Верхотуров. Начался научный этап изучения Афганской войны. Афганистан Ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.afghanistan.ru/doc/15911.html>

Афганская война и память о ней в процессе трансляции последующим поколениям

Нами рассматривается ситуация передачи памяти в процессе социализации, которая происходит как в межличностном общении, так и под влиянием социальных институтов, таких как система образования, семья и т.д.

Целью исследования было, используя метод фокус-группы, выяснить, что современные молодые люди знают об Афганской войне, по каким каналам, в основном, происходит передача памяти об этом событии.

В качестве гипотез проведенного исследования мы рассматриваем следующие:

— ситуация общественного замалчивания может привести к фрагментарности знаний об Афганской войне;

— в условиях информационного вакуума более значимым каналом передачи памяти является семья и межличностное общение;

— следствием общественного безразличия к собственной истории является отсутствие интереса молодежи к афганским событиям.

Нами было проведено две фокус-группы со студентами первого и второго курсов факультета социологии ГАУГН.

Фокус-группа проводилась с использованием гайда, который включал в себя четыре основных блока: общее представление об Афганской войне; знания об основных событиях, с ней связанных; соотношение публичного и приватного дискурса: совпадение, расхождение, противоположность; личное отношение к Афганской войне.

В начале фокус-группы один из студентов высказал мнение, которое достаточно полно соответствовало общему стереотипу восприятия Афганской войны:

«Павел: Так, ну, насколько я помню, Афганская война началась где-то в середине 70-х, если я не ошибаюсь, продолжалась около 10 лет. На мой взгляд, это была огромная ошибка Советского Союза, поскольку воевать они совершенно не умели, и армия находилась в плачевном состоянии. Что еще можно сказать... ну были серьезные потери в советской армии, поскольку они были не готовы к войне с боевиками, которые сидели в горах там, устраивали всякие диверсии и так далее. Здесь, безусловно, присутствует фактор противостояния советского блока и западного блока и в этом смысле, на мой взгляд, эта война ничего не решила»

Это мнение было поддержано всеми участниками фокус-группы в разных интерпретациях.

Затем одна из участниц вспомнила о просмотре фильма «9 рота»:

«М: Когда война происходила, кто-то может назвать точные даты?»

Настя: С 79 по 89 год.

М: А подробнее? Числа? Когда был ввод, вывод войск? Какие-нибудь, может, основные события? Даты вы знаете?

Настя: Нет, там очень сложно.

Наташа: 9 рота

М: А что 9-ая рота?

Наташа: Ну я помню, что там вроде бы как отдельная рота охраняла свою базу, свою часть, и в итоге все равно пришли какие-то войска, спасли свою только часть и очень много жертв. Тяжелая война».

Это способствовало активизации памяти ребят об этом событии и подтолкнуло их к более глубоким высказываниям и рассуждениям.

Многие пытались проанализировать причины:

«Павел: Ну, основная причина да, это противостояние Запада и советского блока. Конкретного повода для введения войск я, честно говоря, не знаю, но, на мой взгляд, там был какой-то формальный совершенно повод для того, чтобы вводить войска.

М: Спасибо, а есть другие мнения?

Игорь: Ну да, насколько я помню, там был свергнут коммунистический режим, и в поддержку его советское руководство ввело войска».



Далее участники группы попытались описать последствия войны:

«Константин: Мне кажется побежденных тут сложно назвать, потому что Советский Союз вывел войска, он отступил, да, но война не была доведена до победного конца Афганистаном. Она скорее не немощь показала советской армии, а вот как сказал Паша, не то, что они не могут вести войну против каких-то сильных стран, это, скорее, против такой подрывной войны, которая идет изнутри. Какими-то диверсантами и прочими. Если бы это была более открытая война, то тогда, возможно, результат был бы другим. Но тут более скрытое, поэтому все-таки войска потерпели поражение. Во-вторых, это ну... что последствием было это развал Советского Союза. Это появление безработных, инвалидов, людей, которые впоследствии были не нужны, которые являлись обузой для государства, которым приходилось выплачивать определенные выплаты и которые не принесли по сути пользы в этой войне. Они принесли в каком-то смысле, но не проявился результат по ошибкам командования и прочего».

Обсуждение пробудило интерес у тех, кто изначально был пассивен в дискуссии:

«Наташа: Извините, а нельзя вопрос задать?»

М: Можно.

Наташа: Я хотела спросить у вас, а какое отношение это может иметь к развалу Советского Союза, туда Афганистан вообще не входил, во-первых, в СССР, ну и каким образом, если мы проиграли в Афгане, как это может способствовать развалу Советского Союза.

Костя: Это показывает, во-первых...

Наташа: Слабость России и что?

Костя: Недееспособность армии, недееспособность чиновников, то есть, полную разруху во властных структурах, это продажность, это аморальность, дизентерия и прочее...

Наташа: Аморальность в чем? В том, что мы ввели туда войска, в чем аморальность?»

Далее следовал блок вопросов, выясняющих источники представления об Афганской войне.

«Константин: Ну тоже со школы, дома тема эта не обсуждается.

М: А в школе? Ты не можешь вспомнить, что вам рассказывали?

(долгая пауза)

Константин: Ну там версия такая, поверхностная, то есть, не говорились причины, не говорили почему, за что, то есть, не углубляясь, не было описания боевых действий, о потерях практически не говорили.

М: А как ты думаешь, почему?

Константин: Потому что это все-таки что-то близкое к нам. Это какая-то черная страница, которую нужно не то чтобы забыть, но какое-то время о ней не говорить».

«Анастасия: А я не помню, кода я впервые услышала что-то об Афганской войне, скорее всего дома. Ну, по-моему, постоянно, сколько я живу. Постоянно эта тема затрагивается кем-либо, либо в СМИ, по телевизору, либо кем-то дома. У меня дедушка любит, когда какие-то гости приезжают, чего-то там разговаривают. В основном от них я это все узнавала».

В данных фрагментах ребята говорят о том, что источниками представлений о войне является не только СМИ, но и межличностное общение.

После обсуждения основных вопросов, ребята захотели высказаться. Именно на этом этапе у них получилась групповая дискуссия. Ребята пытались связать афганские события с современными событиями в Ираке, проводя параллель между советской агрессией и американской:

«Павел: Ну, вот насчет последствий войны, Игорь упомянул афганцев во Вьетнаме. Я хочу сказать, что это была большая ошибка — воевать во Вьетнаме, но это поражение американское привело к тому, что они провели большую реформу армии и научились на своих ошибках.

Игорь: Из книг есть информация, что сами афганцы говорят, что было намного лучше, когда на их территории была советская армия, потому что советская армия помогала им гуманитарно, строила школы, а американская армия пришла только убивать».

В качестве сравнительных результатов двух фокус-групп (на 1-м и 2-м курсах) можно отметить следующее:

Обе проведенные фокус-группы первоначально показали отсутствие знаний и представлений о сущности войны в Афганистане: кто с кем воевал, каковы были причины и следствия. В группе первого курса оказалась девушка, знакомые родителей которой были участниками войны. На втором курсе таких ребят не оказалось.

Попытки сразу обратиться к памяти участников фокус-группы на первом курсе не дали результатов, они начали вспоминать детали Афганской войны только при наводящем вопросе о СМИ. В начале студенты первого курса говорили общие вещи о войне, выражая свое негативное отношение к любому военному конфликту. В гайд были включены вопросы, которые позволили «вытащить» из их памяти все, что они когда-либо слышали об Афганской войне. Однако оценка событий, зачастую, представляла собой штампы СМИ или отголоски семейных разговоров по этому поводу.

В группе второго курса успешность фокус-группы обеспечили 2–3 человека, которые оказались достаточно информированными. Ребята знали точные даты начала и окончания войны, имели свое представление о причинах и следствиях этой войны. Кроме того, полтора года, проведенные в институте, полученный навык обсуждения проблем, позволили построить дискуссию и выйти на более высокий уровень обсуждения.

Приведем примеры конкретных высказываний ребят в ходе фокус-группы:

«...Война была с 79 по 89 год, 10 лет, вот это я точно знаю, что сначала там наши войска туда вошли из-за того, что там правительство было свергнуто, по-моему. Вот и вообще мне тоже кажется абсолютно бессмысленной, это вообще было не нужно и потом было очень-очень много потерь. Особенно вот у нашей стороны...».

«...Первый образ, который у меня возникает — это то, что эта война привела к развалу Советского Союза, так как огромные средства уходили в армию, и в то время советская сторона не способна была провести экономические реформы для того, чтобы спасти государство. Мое отношение к этой войне в большей степени отрицательное, можно понять определенные политические цели, те, которые сейчас американцы преследуют в Ираке, по той же причине вводили войска в Афганистан. То есть эта поддержка определенного правительства, которое будет к тебе лояльно, те же цели приветствовал Советский Союз в то время. Но целей и задач они своих не добились. Это огромный минус...».

«...Афганская война — это определенные действия советского руководства, внешняя политика, которая была необходима... ну, насколько я знаю, Советский Союз активно поддерживали страны третьего мира, в Африке, в Азии и так далее. Устанавливали там коммунистические режимы, переводя их на свою сторону. С Афганистаном, наверное, та же история. Также перетянуть на свою сторону, установив там свой режим. Естественно Запад не хотел позволить это сделать, всячески препятствовал этому. Очень много есть свидетельств, когда агенты ЦРУ и другой разведки помогали боевикам рыть те же самые тоннели в горах. Они были спланированы агентами ЦРУ, вот и... на мой взгляд, основная причина — это естественное противостояние Советского Союза и США...».

Несмотря на то, что причины войны представлены неточно, допущены явные фактические ошибки, участники фокус-группы демонстрируют общие представления о рамках, в которых происходили афганские события и проявляют свое отношение к ним.

С позиции ситуации передачи памяти фокус-группа показала, что по вопросу Афганской войны передача памяти нарушена, подтвердились практически все гипотезы.

Ребята отмечали, что *«...эта война близка к нам по возрасту... и о ней не говорят, потому что это все-таки было поражение Советского Союза. Может быть, это является чем-то позорным, возможно, и оно не слишком афишируется, в школе не особо преподается Афганская война. То есть, если многие могут назвать какие-то даты Великой Отечественной (Курская дуга, взятие Берлина), а Афганская война — это что-то такое, что не принято афишировать у нас в обществе. Может быть, поэтому мы так мало знаем о ней...».*



Таким образом, знания о войне, если у кого-то и есть, то весьма фрагментарные, полученные в межличностном или семейном общении. С точки зрения некоторых студентов, недавняя Афганская война — глубокая история, опыт, который им никак не может пригодиться в жизни.

В этих высказываниях можно отметить ряд общих положений, выдвинутых участниками обеих фокус-групп.

Во-первых, это негативное отношение к любой войне. Студенты отмечают ее политический характер в связи с попыткой Советского Союза завоевать влияние в странах третьего мира и как противостояние с Западом. Во-вторых, понимание того, что замалчивание войны — это попытка сконструировать память (является чем-то позорным, не афишируется), ретушировать память о поражениях в сравнении с победой в ВОВ.

Если провести параллель с периодом всей советской истории, то можно обозначить намечающуюся тенденцию в обществе, связанную с желанием как можно скорее забыть обо всем, что было в этом периоде. Источником представлений о том, как жили люди в это время, становятся СМИ и произведения искусства (например, фильмы: «9 рота», «Кандагар», сериалы о войне «Штрафбат»). Режиссеры, пользуясь различными выразительными средствами, зачастую гипертрофированно выделяя отдельные детали, передают собственную интерпретацию исторического контекста. Можно предположить, что при недостаточном внимании к институционально закрепленной передаче памяти это приведет к тому, что у молодежи сформируются штампы, подменяющие историческую память.

Так, например, в приведенных фрагментах участники групп говорят об огромных потерях советских войск в Афганской войне, не сопоставляя их с потерями в Великой Отечественной или даже Чеченской войне, в которых погибло гораздо больше людей. Студенты отмечают бессмысленный и неоправданный ввод советских войск в Афганистан, не имея четкого представления о причинах и даже об участниках войны.

Невостребованными остаются свидетельства самих участников афганских событий, которые могли бы помочь воссоздать реальную картину происходящего. Однако в конце фокус-группы участники отметили, что с большим интересом восприняли бы встречу с участниками Афганской войны, если бы она была организована. Тем более что сами участники событий выказывают готовность поделиться информацией с молодежью. Так в проведенном нами интервью с ветераном Афганской войны Игорем Фомичевым³, он сказал:

«А, кстати, вы меня можете пригласить, я приеду, выступлю перед первокурсниками».

Рассказывая о возвращении домой из Афганистана, он демонстрирует свой опыт передачи памяти младшему поколению:

«Это был ноябрь месяц, иду я домой, ехал. Метро еще не было на Царицыно, на «Каширке» вышел и на автобусе доехал. Иду и смотрю, по-моему, отец идет с работы, с другой стороны. И он меня тоже узнал, мы встретились, обнялись. В субботу я уже домой друзей позвал, одноклассников. Родители позвали своих знакомых. Потом в понедельник пошел в школу, где учился, перед десятиклассниками выступал. Потом пошел в военкомат, в милицию. Свои гражданские дела делал, в общем...».

В ходе обсуждения в обеих фокус-группах звучало, что в школе фактически не обсуждалась Афганская война:

«А в школе мы тоже вскользь проходили... если вообще проходили. Не осталось в памяти этого. В институте не обсуждали и с друзьями не обсуждали».

В ходе фокус-группы был задан вопрос, провоцирующий на дискуссию, и студенты включились в нее, выявляя различные точки зрения и интерпретации одних и тех же событий:

«М.: А каков образ войны в этих источниках, о которых мы сейчас говорили? Есть ли какое-то противоречие между разными источниками, например, между тем, что говорят по телевизору, и тем, что говорят родители?»

³ Из материалов проекта «Историческая память как фактор социализации и идентификации: сравнение России и Польши» (время проведения интервью — весна 2010 года).

Павел: Безусловно, у многих людей, с которыми мы разговаривали на эту тему, точки зрения не совпадают. Кто-то говорит, что вот это правильно, надо было вводить войска, кто-то говорит, что не надо. Это как бы стандартная ситуация, ну как бы естественно, тот образ, который всплывал у меня после рассказов отца, деда, он в корне не совпадает с тем представлением, который афишируется на экране.

М.: А в чем противоречие?

Павел: Ну вот, когда смотришь различные документальные фильмы, по телевизору показывают, у меня после большей части таких передач складывается впечатление, что такая бравая советская страна, что все было так прекрасно, и что, в общем, один «дурак» все загубил, вот и как бы, естественно, отец рассказывает мне более глубоко. И объяснял какие-то более глубокие причины. И открыл глаза, так сказать...».

Следует отметить, что перегруженность школьных программ исторического образования не позволяет проводить обсуждения острых проблем современной истории, создавая проблемы социализации молодежи, испытывающей затруднения в определении своего отношения к таким историческим феноменам как Афганская война.

Таким образом, мы отмечаем, что современные молодые люди имеют представление об Афганской войне, сформированное, в основном, посредством межличностного или семейного общения. Высказывания респондентов об афганских событиях носят, в основном, негативный характер, ими высказывается мысль о бессмысленности и бесчеловечности обсуждаемых военных действий и человеческих жертвах. Однако, отсутствие аргументации, знаний об афганских событиях, отсутствие обсуждения фактов и причин, приведших к вводу советских войск в Афганистан, последствий войны, в школе или других социальных институтах приводит к формализации представлений, отстраненности от этой проблемы, отсутствию исторической памяти.

Интерес, проявленный к теме респондентами во время проведения фокус-группы, готовность ребят встретится и обсудить тему с участниками событий, говорят о том, что именно недостаток объективной информации, замалчивание темы в СМИ, отсутствие общественной дискуссии по этому вопросу, препятствуют передачи памяти об Афганской войне.

Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что и сегодня остается актуальным вопрос об использовании научного подхода в изучении Афганской войны, результатом которого будет информирование общества в целом, и особенно молодежи, о реальной картине происходящих событий, предоставление возможности определения собственной позиции по отношению к неоднозначным вопросам нашей истории. Такой подход может содействовать выработке ценностных ориентаций молодежи, содействовать их позитивной социализации.

Литература

Данилов А. История России, XX – начало XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.

База данных ФОМ. Россия: чем гордимся, чего стыдимся? // 14 февраля 2002. Опрос населения. Режим доступа: <http://bd.fom.ru/report/map/dd020627>

Верхотуров Д. Начался научный этап изучения Афганской войны // Афганистан.Ру / Режим доступа: <http://www.afghanistan.ru/doc/15911.html>

Восточная литература // Режим доступа: www.vostlit.info

Голембевска И. 17 января 1945 в Варшаве. Представление событий в школьных учебниках по истории, действующих в Польше после Второй мировой войны. [Рукопись].

Книга памяти // Режим доступа: <http://www.rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=364>

Кинсбургский А., Топалов М. Реабилитация участников афганской войны в общественном мнении. // *Социологические исследования*. 1992. № 1.

Костыря А.А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979–1989 гг.). Донецк: Промінь, 2009.

Виртуализация мемориальных практик: интернет-сайт как «книга памяти»

*Ирина Ксенофонтова**

Аннотация

В данной статье мы представляем результаты поискового исследования на тему виртуальных мемориалов и коммуникации, которая возникает «вокруг» таких мемориалов в русскоязычном сегменте сети интернет. Появление новых технологий затрагивает и процессы, связанные с передачей исторической памяти. Мы рассматриваем интернет-сайт ветеранов войны в Афганистане как место памяти, изучая при этом высказывания его пользователей, и размышляем по поводу причин, которые заставляют людей искать воспоминания других в интернете и нести туда частичку своих воспоминаний. По результатам исследования мы предполагаем, что в условиях разобщенности в реальном пространстве и отсутствия официального дискурса о значимых событиях истории, процесс передачи исторической памяти происходит, в том числе, и в сети интернет.

В наши дни, когда значительная часть повседневных практик переносится в пространство виртуального, можно предположить, что то же самое происходит и с коллективной (исторической) памятью. В западной социологии существуют публикации, которые содержат результаты исследования этого процесса, при этом, под digital memory, процессом виртуализации памяти, авторы подразумевают не только сеть интернет, но и другие формы памяти, которые появились или видоизменились благодаря новейшим технологиям. Исследованы различные формы виртуальной памяти, такие как, например, аудиозаписи, цифровые фотографии, блоги и т. д. Digital memory — это новый способ сохранения воспоминаний, обусловленный технологическими новшествами, например, такими как возможность оцифровывать фотографии, создавать виртуальные архивы и т.д. Авторы исследования (Von Dijck, 2007) говорят о том, что мы все сталкиваемся с переменами — вместе со способами хранения памятной информации изменяется и то, что мы сохраняем. При этом высказываются определенные опасения в связи с тем, что в будущем может произойти «колонизация» памяти, так как решать, что сохранять в виртуальном пространстве памяти будут те, кому доступны средства этого сохранения. Актуальность исследования виртуализации памяти обусловлена тем, что необходимо уже сейчас задуматься над тем, что и как будет представлено в качестве коллективной памяти в будущем. Это работа и для социологов, которым необходимо пересматривать свои методы изучения памяти; и для дизайнеров, которые будут разрабатывать интерфейс «виртуальной памяти» (Van House, Churchill, 2008).

Сужая фокус до проблематики воспроизводства памяти в сети Интернет, мы можем обратиться к исследованиям, посвященным «виртуальным мемориалам», в частности, тем, что были созданы после трагических событий 11 сентября (Hess, 2007). Веб-мемо-

* Ксенофонтова Ирина, аспирант ИС РАН, iksenofontova@yandex.ru

риалы, считают авторы, являются возможностью увидеть не только то, что обусловлено официально, но и услышать «народный» голос, который существует в форме высказывания на форумах, сопровождающих такие сайты.

Несмотря на то, что и в России процесс «оцифровки» памяти идет уже давно, и появление всякого рода виртуальных мемориалов в сети Интернет уже не редкость, создание и функционирование таких форм памяти пока еще находятся в категории потенциальных тем для исследования. Рамки исследования не позволяют нам широко охватить эту тематику, но в своей работе мы постараемся обозначить ту проблемную область, которая сможет получить свое развитие в дальнейших исследованиях. В частности, мы бы хотели совершить попытку поместить это явление — виртуальный мемориал — в рамки существующей теории исторической памяти и попытаться объяснить его функционирование на примере одного из интернет-сообществ.

Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи: выяснить, могут ли интернет-сообщества являться «местом памяти» по Пьеру Нора; какими особенностями обладает коммуникация, в основе которой лежат коллективные воспоминания; какова основная функция таких сайтов-«мест памяти»?

Эта проблема изучалась на примере сообществ бывших участников боевых действий в Афганистане. В частности, мы рассматривали структуру и содержание сайта, который был создан и посещается участниками боевых действий¹. Нами была предпринята попытка осмыслить это интернет-сообщество как «место памяти».

Пьер Нора, рассуждая о понятии «места памяти», говорит о том, что для существования мест памяти, прежде всего, нужна интенция: *желание помнить*. Места памяти находятся на стыке исторического знания и памяти как таковой; это не история в чистом виде, но и не память в психологическом понимании этого термина. Места памяти в современном обществе образуют некую систему символов, которые, являются отсылками к тем или иным событиям, явлениям истории.

Пьер Нора утверждает, что места памяти всегда существуют в трех аспектах: материальном, символическом и функциональном:

На самом деле они являются местами в трех смыслах слова — материальном, символическом и функциональном, — но в очень разной степени. Даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой. Даже чисто функциональное место, такое как школьный учебник, завещание или ассоциация ветеранов, становится членом этой категории только на основании того, что оно является объектом ритуала. Минута молчания, кажущаяся крайним примером символического значения, есть как бы материальное разделение временного единства, и она же периодически служит концентрированным призывом воспоминания. Три аспекта всегда сосуществуют. (Нора, 1999. С. 17–50).

Опираясь на такой подход к определению мест памяти, можно попытаться развить концепцию восприятия интернета как места памяти. Конечно, не весь интернет является единым местом памяти. Виртуальное пространство разбито условными границами на различные текстовые фрагменты. Эти текстовые фрагменты могут являться формой коммуникации отдельных сообществ. В пространстве интернета существуют отдельные интернет-сообщества, которые могут считаться местами памяти, поскольку коммуникация внутри этих сообществ основана, прежде всего, на совместных коллективных воспоминаниях. Такие сообщества и являются объектом нашего анализа.

Вступая в подобное сообщество (регистрируясь на сайте), пользователь совершает акт идентификации с остальными участниками. Важно заметить, что при этом модера-

¹ <http://pv-afghan.ucoz.ru/>



торами обозначаются также внешние границы таких сообществ. Так, в случае с сайтами бывших афганцев происходит их разграничение по роду войск, месту боевых действий, названию боевых групп и т. д. Вместе с тем, просматривается тенденция к объединению таких сайтов, к созданию некой «социальной сети» афганских сайтов: например, на заглавных страницах часто размещены ссылки на «дружественные» сайты других объединений афганцев.

Сайт, который был выбран в качестве объекта изучения, называется «ПВ КГБ СССР в Афганистане в 1979–1989», он расположен по адресу <http://pv-afghan.ucoz.ru/>, на заглавной странице находится его описание:

«Объединение ветеранов подразделений ПВ КГБ СССР в Афганистане.

Объединение интернет-сайтов «Пограничные Войска КГБ СССР в АФГАНИСТАНЕ» создано в 2007 году инициативной группой ветеранов подразделений ПВ КГБ СССР в Афганистане 1979–1989 гг.

Это некоммерческое общественное объединение, действующее исключительно на энтузиазме ветеранов пограничников-афганцев»

Структура сайта такова:

ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Идея создания объединения

История участия ПВ КГБ СССР в Афганской войне (Архив)

Мемориал погибшим

Пограничники-афганцы, Герои Советского Союза

ФОРУМ (по подразделениям)

Галерея фотоальбомов

Слайд-шоу

Уникальные документы

Воспоминания ветеранов

Поиск однополчан

Список пользователей

Карта боевых действий ПВ в Афганистане

Каталог статей

Каталог сайтов

Новости в формате RSS

Инструкция для регистрации на сайте

Страницы истории Афганистана

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Разное²».

Наряду с данным сайтом были рассмотрены и другие подобные сайты, которые представляют собой виртуальную площадку с обозначенной мемориальной тематикой. На форумах, существующих при сайтах, бывшие сослуживцы разыскивают друг друга спустя долгое время, а также общаются на интересующие их темы.

Поразмышляем над тем, что мы можем назвать материальным аспектом, в понятиях Нора, когда говорим об интернет-сообществах? Несмотря на то, что интернет-сообщество существует виртуально, у любого сегмента сети есть обозначение своего пространства, его структура и границы. В конкретном рассмотренном нами случае — на сайте участников боевых действий — такими границами являются:

— **название сайта**

— **структура сайта и форума**

Сайт находится по постоянному адресу, его название четко сформулировано и обозначено как принадлежность к определенному роду войск, временным рамкам цент-

² <http://pv-afghan.ucoz.ru/>

рального фокуса общения, указывающего на событие (война в Афганистане). Информация, предоставленная на сайте, логически структурирована (см.: разделы сайта). Еще одной визуальной характеристикой являются картинки пользователей (или userpics) участников общения, зарегистрированных на форуме. Изучение профилей самых активных пользователей показало, что в качестве такой картинки чаще всего выбирается своя фотография военных лет. Чуть реже — своя современная фотография. Тем самым можно констатировать, в чем заключается скрытый смысл подачи своего «виртуального Я» на этом сайте: я не склонен скрываться за чужим образом, на данной виртуальной площадке я являюсь самим собой. Другая подобная особенность: обращение друг к другу по именам.

Два указанных параметра формируют виртуальную среду коммуникативной активности, которую мы можем рассматривать в качестве «функционального места» (П. Нора) или материальной основы существования сайта как места памяти.

Что касается *символического аспекта*, то он, на наш взгляд, проявляется как во внешних (визуальных) признаках, так и в коммуникативной деятельности пользователей. Дизайн главной страницы сайта содержит в себе такие визуальные объекты, как: военная карта, наградные ордена, знаки отличия. Все это мы можем отнести к символике боевого прошлого, точнее, к символике войны в Афганистане. Далее, в разделе «Мемориал» в оформлении страницы использована георгиевская лента как знак личной доблести и вечной славы солдата. Здесь же использованы такие традиционные символы, как Вечный Огонь и красная гвоздика — символы памяти о погибших. В разделе «Мемориал» есть также «Книга памяти» — поименный список погибших, электронный аналог выпущенной в свет книги и карта с указанием мест гибели каждого³. Раздел «Мемориал» символически является центром всего сайта, это виртуальный памятник тем, кто не вернулся с войны. Информационное насыщение этого раздела (а также других разделов) — это своеобразная форма «ритуальной» деятельности всех участников сайта и форума, символическое преклонение перед погибшими и трагическими событиями войны.

Интересен и другой «ритуал» участников сообщества. Модератор форума вправе присуждать пользователям воинские звания в зависимости от активности общения на форуме:

«aprel: А я уже 1000 дней на сайте. ВОТ!!!!!!!⁴

***jazz-18:** aprel, Кроме того, имеешь возможность в скором будущем стать девятым ветераном движения ПВ-Афган.*

***leonid:** ОПАНЬКИ!!!*

А вот это уже интересно!

Т а а а к...с этого места, пожалуйста, Олег Арнольдович подробнее!

***jazz-18:** Leonid, Очень просто, в связи с активностью на общем сайте, звание “ветеран ПВ-Афган” уже получили: Tura, Sergei, jazz-18, 1989, Leonid, 318, amper, konstantin400. Девятым должен стать или Серега, или Поэт (Дата: Четверг, 18.11.2010)⁵»*

Определенная активизация пользователей происходит и в преддверии празднования определенных памятных дат, таких как, например, годовщина вывода войск из Афганистана (15 февраля). Ежегодно на сайте появляется отдельная страница, посвященная этой годовщине⁶. На этой странице есть возможность добавления комментариев, содержащих поздравления, в том числе, стихотворные формы:

³ <http://pv-afghan.ucoz.ru/index/memorial/0-81>

⁴ Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация авторов сообщений.

⁵ Здесь и далее, если не указано другое, тексты сообщений приведены из форума <http://pv-afghan.ucoz.ru/forum/>

⁶ http://pv-afghan.ucoz.ru/news/22_aja_godovshhina_vyvoda_sovetskikh_vojsk_iz_afganistana/2011-02-14-152



«Sanya:

Мы вспомним все: и боль утрат,
И стоны раненых ребят,
И обелиски у дорог:
Свердловск, Калинин, Кривой Рог,
Стену тюльпанов, кровь земли,
Где парни русские легли,
Афганистана пыль дорог,
Седых вершин холодный рог,
И капли пота на щеках,
И автомата дрожь в руках.
Увидим слезы матерей,
Что не дождалась сыновей.
Погибших вспомним имена
И выпьем третий тост до дна»⁷

Также праздничные даты в каком-то смысле провоцируют пользователей на воспоминания:

«Добрыдень: Всех сослуживцев поздравляю с днем вывода войск с Афганистана! С днем памяти братья шурави, покуда мы живы будем помнить о тех кого нет с нами, а чтобы их помнили после нас нам необходимо вписать их в историю и рассказать о них таких какими они были.

Usman: Присоединяюсь к поздравлению Анатолия Добрыдень. Для нас 15 февраля был, есть и будет Днем вывода войск из Афганистана. С праздником дорогие Карези-Ильясовцы! И давайте воспоминания! Никто, кроме нас о нас самих! (Дата: Вторник, 15.02.2011)

«Kuzya13101958: Здравстуй Александр, я многое могу забыть но два года в ДРА на вечно, помню и наши БТРы как возвращали их к жизни как выезжали на них за колючку как по постам катались, героически погибшею АПМ 90. Всех 22 годовщиной с Выводом, часть нашей жизни осталась там за речкой и не плохая часть может быть самая яркая. (Дата: Понедельник, 14.02.2011)»

«ВладимирК: С праздником. Хотя я не люблю так называть. Это день памяти всех кто выполнял свой долг не ради славы, денег, а ради Родины Державы. И в конце концов ради тех же афганцев, чтоб они жили как люди. Это понимание приходит со временем. А тогда мы были молодыми и Приказ Родины был для нас не пустой звук. Хотя мы об этом и не думали. С днем памяти.

и песня мне нравится <http://www.peresvet-lavra.ru/uploads....nie.mp3>

Добрыдень

Quote (ВладимирК)

Приказ Родины был для нас не пустой звук. Хотя мы об этом и не думали. С днем памяти. Владимир Александрович, я с вами согласен приказ Родины для нас был не пустой звук и сейчас после стольких прожитых лет после Афгана, мы все же вспоминаем те дни в Афгане когда чувствовали плече друга и знали друг ни когда не подведет и Родина для нас было нечто большее чем те места где мы родились, а то что нас всех объединят до сих пор

⁷ Там же.

это боевое братство, которое не знает границ. Может немного звучит не так как принято говорить с трибун, но это то чем мы живем. (Дата: Вторник, 15.02.2011)»

В каком-то смысле интернет-сайт становится символическим виртуальным памятником, местом, где у бывших сослуживцев есть возможность «встретиться» и поздравить друг друга вне зависимости от того, где они находятся в данный момент. В приведенных сообщениях присутствует момент эмоциональной оценки самой праздничной даты: праздник ли это, или день памяти? День радости или день скорби?

Рассмотрение функционального аспекта позволяет нам попытаться ответить на вопрос, зачем и почему существуют такие сайты-места памяти. В частности, в гайд интервью с участниками боевых действий в Афганистане был включен вопрос: **«Пользуетесь ли вы интернетом для общения с бывшими сослуживцами?»**⁸. В ходе исследования на этот вопрос были получены ответы, которые условно можно разделить на три смысловые группы: «отказ от пользования сетью Интернет (неумение пользоваться)», «частичное пользование — для поиска сослуживцев» и «активное пользование с целью онлайн-общения и воспроизводства памяти».

Самая распространенная стратегия опрошенных респондентов — это использование интернета только для поиска своих сослуживцев, и нежелание использовать интернет для общения:

Р: Ну, эээ... работа у меня не связана с интернетом. Я толком не умею, но вот как-то сидели, одноклассников я искал. Того, того, но не смог найти... ну, с кем я учился, их... мне это приятно друг друга братом называли... он ко мне приезжал. Хочется их найти, но я искал — и не мог найти. А так... эээ... ну интернетом... нет, я не пользуюсь»

И: Понятно... Так... А вот последнее время вот... люди пользуются интернетом, в том числе и для общения там... с единомышленниками там и так далее. Вот для того, что бы искать афганцев или просто с ними общаться, Вы пользуетесь интернетом?

Р: Не... Ну интернетом, конечно, пользуюсь, но с афганцами я по интернету не общаюсь. Как говорится, много раз я пытался, конечно, я в некоторых сферах хотел разговор завести... <...> Потом много офицеров... но не хотят общаться. Может быть... а с другими... ну я больше не пытался. Тем более... своих ребят, с которыми служил, очень много... То есть... я как-то не старался. Пару раз пробовал, ну и больше, на этом закончилось.

И: То есть, Вы прекратили эти поиски, или Вы сейчас тоже пытаетесь кого-то найти?

Р: Да нет... нет... Сейчас уже ничего не пытаюсь найти (усмехается). Это было когда-то давно... Ну как давно, может лет пять тому назад.

И: А Вы хотел найти для чего? Чтобы вместе вспомнить о чем-то или просто?

Р: Ну... для общения... узнать, как человек живет, тем более... я говорю, я всех офицеров нашел... своих.. Много, много очень ребят нашел.... друг друга нашли. Общаемся, так вот пересекаемся. Так что мне на этом фронте повезло, и я не-общением не страдаю.

И: Угу, у вас общение осталось не через интернет?

Р: Нет... у нас такие телефонные.. Там встречаемся.. Не часто, но бывает»⁹

«Р: Вот. Он нашел по интернету мой телефон, у нас есть сайт сто первого полка.

И: Именно ваш сайт? Вы там общаетесь?

Р: Да-да (рассеянно)... Я не общаюсь. То есть, я знаю, что сайт есть, да, я захожу, смотрю.

И: Вы просто посещаете?

Р: Да, я просто иногда»¹⁰

На сайте, который стал объектом нашего исследования, эта проблема так же обозначена в высказываниях пользователей:

⁸ Из материалов проекта «Историческая память как фактор социализации и идентификации: сравнение России и Польши» (время проведения интервью — весна 2010 года).

⁹ Из материалов интервью.

¹⁰ Там же.



«arnaut60: Да, была бы активность наших ильязовцев повыше, узнали бы больше. Наши ребята общаются на одноклассниках (Ватагин, Ишкулов, Рылов...), а сюда почему-то заходят редко.

318: А в каком сообществе и как, на форуме или в личку пишут?

arnaut60: Пишут в личку. Я уже им писал, чтоб выходили на родной сайт. Пока не осмыслили. Жалко, что и А. Миляев пока сторонится общественной переписки, но парой строк с ним перекидываемся. А он мог бы вспомнить много интересного... (Дата: Воскресенье, 29.03.2009)»

«**1989:** Тема СБО Тахта-Базарского отряда незалуженно давно пустует, хотя количество просмотров темы свидетельствует об интересе форумчан к истории нашего СБО <...> (Дата: Вторник, 17.03.2009)»

Популярность сайта «Одноклассники» в каком-то смысле действительно «перебивает» желание ветеранов регистрироваться и общаться на специализированных сайтах. Об этом говорится и в материалах интервью:

«И: А вы пользуетесь интернетом для общения с бывшими сослуживцами?

Р: Да, в одноклассниках общаюсь.

И: А как-то сказывается интернет на вашем общении?

Р: Да я стараюсь живьем общаться. Только иногда на одноклассниках напишу там что-нибудь. А так нет. Общение — это вот как мы с Вами сейчас сели за стол, поговорили. А это что, общение что ли? Это, по-моему, не правильно. А тем более с теми, с кем служил»¹¹

Может сложиться впечатление, что интернет выполняет некую вспомогательную функцию, предлагает возможность пообщаться с теми, кто находится далеко, или с тем, чьи контакты были некогда утеряны:

«И: И про интернет. Вы пользуетесь да сетью интернет?

Р: Ну, да, немножко. Пытаюсь.

И: А через какой ресурс в интернете вы общаетесь?

Р: Да, я просто зашел в армию, зашел в страну, зашел в свою полевую почту, зашел в свою бригаду, потом нарисовал свой, когда я служил «тык-тык», написал, какая рота и все. И все уже, кто там был, «бах», начали вылазить. Активно вот мы сейчас. Я нашел Х, он сейчас в Новосибирске, хотя жил в Ташкенте всю жизнь. Но с развалом он переехал в Новосибирск и вот сейчас там. Буквально, вот перед Новым годом мне было очень приятно. У нашего, механик-водитель, он пишет: «Вроде ты?» — «Я». И так далее.

И: Это в одноклассниках?

Р: Это в армии. Ну, да, я в одноклассниках ру, одноклассники, одноклассники. И тут же зашел в армию.

И: Как влияет интернет на ваше общение?

Р: Видишь, я не очень активно. Поэтому, видишь, мне ответить-то на этот вопрос как-то. Если бы, допустим, я сидел в нем каждый день и не выходил. А так от случая к случаю, зашел, посмотрел, отписал. Передал приветы. Прочитал, что тебе написали. И все.

И: В каких-нибудь интернет-акциях вы участвовали?

Р: Нет.

И: А вы слышали когда-нибудь об интернет-акциях?

Р: Если честно, нет»¹²

¹¹ Из материалов интервью.

¹² Там же.

Интернет, безусловно, выполняет информативную функцию по накоплению и сохранению памяти. Пользователи не только ищут своих сослуживцев, но и обращаются к ним с целью получить информацию:

«И: У вас что-то изменилось, когда интернет стал более или менее общедоступным, помогает это?»

Р: Помогает, информации много. Много сообществ стало. Я сам в 149-м полку нахожусь, там знаю на сайте еще 66-я бригада джелалабадская меня интересовала, конкретный случай, я с ребятами списался, и поэтому они мне некоторую информацию дали. Фотографий много, можно посмотреть, много случаев описано боевых действий <...>»¹³

На сайте <http://pv-afghan.ucoz.ru> выполнение информативной функции очень широко представлено. В первую очередь, это постоянно пополняемые архивы документов и фотографий. Структура сайта позволяет довольно легко и быстро найти подобную информацию. Более того, постоянно происходит пополнение этих архивов в соответствующих разделах форума:

«jazz-18: Недавно открыт сайт нашей ДШМГ. Прошу помочь фотографиями и материалом.

amper: Сегодня перебрал фотки. Завтра отсканирую, подготовлю подписи и вышлю... В отношении собственного можно, конечно. Есть много личных фоток. Но у меня есть уникальные фотографии генерала армии Матросова, председателя КГБ Чебрикова. Они приезжали в Термез. Мы (фельдшера) дежурили в ПМП, когда были на базе. Я лечил фотографа части. Вот он мне фоток и подкинул, ну как бы для ДМБ альбома. Но я их, честно говоря в альбом не поместил... Еще командиров наших. Есть фото "Бати" Ивашкевича. Я не знаю, не помню, наверное когда Вы прибыли, то майор Мыхлык был нач ДШ. Кстати Мыхлык мой земляк. Мы с ним оказалось были с одной области (Черкасской, Украина). Вам не известна его судьба?

Tura: Вот это здорово!»

На форуме есть специальный раздел для сбора воспоминаний об операциях по годам¹⁴, а также разделы «Герои Советского Союза»¹⁵ и «Неучтенные потери. Специфика подразделений ПВ КГБ СССР в Афганистане»¹⁶. Нужно отметить, что, несмотря на то, что определенная роль в сборе этой информации отводится модераторам (они отвечают, например, за размещение собранной информации в соответствующих разделах), сами пользователи проявляют инициативу, задают тему для общения:

«mehanic Я, Жерновников Иван Алексеевич. Пока единственный, кого Чапкевич представил как бойца ДШГ-3 с Сеабд-Дашта. Огромный ему привет и большое спасибо. На Сеабе был от начала и до конца а перед этим маленько послужил с Чепком на Куфе. О гибели моего командира Коробкова, разведчика Гиясова и Ясырова я знаю не по наслышке, но то, что я читаю на этих страницах, меня поражает. Но к этому позже. Хотелось бы выложить фото, а то как то одному маячить за всю ДШГ не удобно. Помогайте. На сайте буду ежедневно. Всем привет.

konstantin400 Приветик Ваня, сколько лет мы с тобой не виделись, на конец то наша старая гвардия подтягивается!

¹³ Из материалов интервью.

¹⁴ <http://pv-afghan.ucoz.ru/forum/47>

¹⁵ <http://pv-afghan.ucoz.ru/forum/246>

¹⁶ <http://pv-afghan.ucoz.ru/forum/248>



Поздравляю тебя с прибытием в наш виртуальный мир, а отдуваться тебе предеться за все ДШГ свое, так что удачи тебе братан.

Sergei Иван! Говори чем помочь тебе надо, мы всем миром в один миг тебе все подкажем. Об обстоятельствах гибели обязательно пиши хоть здесь, хоть в комментариях на «Странице памяти» (ссылка — прим. авт.)

mehanik Всем привет! С Костей пообщался по скайпу. Небольшой инструктаж он мне дал. Сейчас связался с Бардадымом Генной, фельдшером был на куфе, сеабе, а после снятия сеаба снова куф. Подберу его материалы и с вашей помощью попробуем пробелы в истории Сеабдашта закрыть. (Дата: Воскресенье, 09.08.2009)¹⁷

Также на сайте присутствуют «общие» воспоминания, которые связаны темами, такими как: «МинOMETная батарея», «Минно-разыскные собаки», «Инженерно-саперный взвод», «Разведвзвод», «Взвод связи», «Противотанковый взвод», «Полевое водоснабжение», «Техника ИСВ», «Взвод МТО».

Отметим, что несмотря на довольно широкий охват тематики воспоминаний, отдельно стоящей задачей является поиск информации о погибших во время боевых действий:

«Р: Ну, вот, мы допустим, вот сейчас, я Вам уже говорил, что, вот, ребята с Тюмени создали сайт, вот, нашей части, а, мы вместе искали и, вот, сейчас мы восстановили то, что, вот, сейчас уже, в принципе, почти, не почти, а список окончательный то, что наша часть потеряла 111 человек за годы войны, вот, хотя официально — 108 почему-то, вот. А, и, ребята, в общем, там, копали, в полном смысле слова копали информацию, по каждому, в общем, все проверяли, по каждому, потому, что не дай Бог его потом запишешь в погибшие, а он живой, либо, наоборот, в общем, там, все, разыскивали. Ну, вот, <...> мой вклад такой скромненький, это, в эту книгу памяти, это самое, Коля Коваленко, Сашка Иголкин, а, Сашка Резвов, а, этот самый, ммм, блин, (вспоминая) выскочил из головы, сейчас не вспомню, уже все, вот, выключилось. В общем четверых с моей помощью, потом я с ребятами, а, в жарких спорах мы выясняли, писать ли о тех, кто попал в плен по тем или иным <...> обстоятельствам, кто-то сам сдался, такое тоже было, кого-то захватили в плен, вот»¹⁸

В данном высказывании респондент говорит о своем активном участии в создании «книги памяти». Установление истины о погибших и увековечение памяти о них — это, по-видимому, основная функция интернет-сообществ ветеранов Афганистана. Эта цель часто официально заявляется как главная при создании сайта. Например, на главной странице сайта «ПВ КГБ СССР в Афганистане в 1979–1989» (<http://pv-afghan.ucoz.ru/>) об этом говорится в своеобразном манифесте организаторов сайта:

«Идея создания «Объединения сайтов» **родилась из общения ветеранов** на пограничных форумах в интернете. Главной целью стало — **увековечение памяти** погибших в Афганистане пограничников»

Также, как уже говорилось, на таких сайтах часто создаются «уголки памяти» виртуальные мемориалы. Источником информации для насыщения этих «уголков памяти» является непосредственная коммуникация участников интернет-сообщества.

Респондент А. говорит о том, что «в жарких спорах мы выясняли, писать ли о тех, кто попал в плен». Таким образом, помимо написания официальной «книги памяти» участники сообществ обращаются к пересмотру исторической информации, пытаются через «живую память» установить истину. На сайте <http://pv-afghan.ucoz.ru/> этот аспект задокументирован следующим образом:

«К сожалению, по ряду причин этот период (боевых действий в Афганистане — прим. авт.) в истории страны и ПВ незаслуженно слабо отражен в печати, книгах, кинематографе.

¹⁷ Тема «Операция в Рагском и Куфабском ущельях» (1981 год).

¹⁸ Из материалов интервью.

Появление пограничных сайтов в сети дает возможность восполнить этот пробел.

В связи с малым количеством архивных документов, материалы собирались главным образом у непосредственных участников боевых действий.

Поэтому возможны некоторые неточности и несовпадения в деталях, субъективизм в оценках событий»

В этом тексте мы видим обозначение проблематики: **отсутствие официального дискурса о войне побуждает участников боевых действий к воспроизводству и воссозданию социальной памяти на виртуальной площадке**. Сохранение этого пласта воспоминаний и его структурирование осуществляется посредством коммуникации в интернет-сообществе.

Например, если исследования исторической памяти по отношению к ВОВ показывают, что в данном случае историческая память существует и функционирует (Афанасьева, Меркушин, 2005), то исследования по отношению к Афганской войне дают не столь однозначные результаты (Кинсбургский, Топалов, 1992). Мемориальная деятельность по отношению к Афганской войне во многом считается делом только тех, кого эта война коснулась лично (Данилова, 2009). По мнению самих ветеранов, в официальной истории существует значительный пробел, который необходимо восполнять, поскольку этот пробел является «незаслуженным». Как и в случае с мемориальной деятельностью в реальном пространстве, ветераны афганской войны берут на себя основную функцию «хранителей» памяти. И средством собрать информацию, структурировать ее и оставить в свободном доступе для других является интернет:

«Groz Ребята хочу поднять вопрос по погибшим ребятам, есть некоторые погибшие не прописанные в книге памяти или данные не полные. Хочу в первую очередь узнать о Марков Сергей Владимирович погиб где-то в 82 или 83 годах, в книге памяти вообще не нашел, хотя знаю что пограничник и погиб в Афгане. Это мой земляк из одного города призывались, только годы службы разные, когда я демобилизовался он уже был похоронен. Родственников в городе уже нет уточнить что-либо не у кого. Смотрел по страницам разных отрядов его нигде нет или может не нашел. Второй погибший тоже земляк из соседнего села, погиб в мае 85, Романьков Александр Викторович, в книге памяти есть данные неполные. Хорошо знаю его брата он говорил, что Саша служил в одном из ДШМГ только отряд не знает. Также смотрел по страницам разных отрядов, его нигде нет. **Может, кто что знает или помнит нужно все привести в порядок. Никто не забыт и ничто не забыто»**

«Michael Quote (КОЛЯ)

«Миша, пора уже потихоньку в нашей книге памяти. напротив каждой фамилии делать ссылку. Ведь информация есть, а там только одни фамилии. Только те дают информацию что по ММГ и ДШМГ» (цитата предыдущего сообщения — прим. авт.).

Коля, ты прав, но руки до всего не доходят, часть ссылок уже есть, сейчас полегче стало их делать, когда страницы памяти на сайтах подразделений открылись, но у нас еще много неустановленных бойцов вот это в первую очередь надо сделать, материал собираем по каждому (понятно что сослуживцам это сделать легче), когда закончим с «черновиком», будем заниматься по каждому отдельно (надеюсь тогда уже по большинству ребят на сайтах их подразделений такие странички будут). Если есть у тебя возможность и время помочь эти материалы обобщать — я тебе почтой перешлю все что есть по Мемориалу на сегодня — напиши в личку адрес — пришлю на диске (объем большой <...> Ну и ты правильно делаешь, что подпинаешь иногда под лежачий камень вода не течет. Это наша главная задача восстановить память о каждом погибшем в Афгане пограничнике.

*Это же надо сделать и по ушедшим после Афгана (эта цифра по некоторым данным в 6–10 раз! превышает количество погибших). **Нас не станет и некому вообще будет это сделать.** (Дата: Пятница, 14. 11.2008)»*



Таким образом, можно предположить, что сайты участников боевых действий в Афганистане являются чем-то большим, чем просто информационная сеть для поиска бывших сослуживцев. Такие сайты имеют более широкий функциональный смысл: это символическое место ритуального поклонения памяти павших, место накопления неформальной информации о неизвестных участниках и эпизодах военных действий, место общения. Общение между участниками происходит не только на «заданные» темы, их интерес обращен не только к прошлому, но и к настоящему — к тому, как в наше время формируется общественное представление о боевых действиях в Афганистане. Этот интерес и общение «вокруг и по поводу» собственной памяти направлено на то, чтобы своей вербальной и невербальной неформальной активностью восстановить «историческую справедливость» по отношению к воинам-интернационалистам. Стоит добавить, что общение в мире виртуального часто имеет непосредственную связь с миром реальным: это обсуждение встреч бывших сослуживцев, сбор пожертвований на различные мемориалы (памятные таблички, знаки, памятники на могилах и т. д.), помощь семьям погибших.

Какие особенности коммуникации можно выделить, ознакомившись с содержанием форума? Прежде всего, существенным отличием этих сайтов от большинства интернет-сайтов является то, что *анонимность*, которая является одним из самых типичных признаков коммуникации в сети Интернет, на сайте *практически отсутствует*. Пользователи не скрывают свои имена и другую личную информацию; в этом плане такие сайты близки к социальным сетям. Примером тому являются: обращение друг к другу по именам, указание места своей службы, фотографии и т. д. Эта особенность указывает на то, что пользователи хотят лично участвовать в процессе воспроизводства и сохранения исторической памяти, они подчеркивают свою идентичность и не отделяют свою виртуальную коммуникацию от реальной.

Другой важной особенностью является *направленность коммуникации*, ориентация общения на воспоминания, на сбор информации. Приведенные нами примеры иллюстрируют главную идею: мы действительно можем рассматривать такие сайты как место памяти в трех традиционных аспектах: *материальном, символическом и, в особенности, функциональном*.

Природа памяти в сети интернет — это отдельная тема для тех, кто занимается проблематикой памяти. Как показывает опыт зарубежных коллег, перенесение воспоминаний в среду виртуального действительно оказывает влияние на то, *что и как* люди будут помнить о событиях прошлого. Как мы видим из результатов нашего небольшого исследования, действительно очень важна субъектная направленность: от позиции создателей сайта зависит то, кому будет дано слово: в рассмотренном нами случае это слово дано всем желающим (но, при этом, зарегистрированным пользователям). Создатели сайта и его пользователи несут ответственность за поддержание коммуникации вокруг виртуального мемориала; они же отвечают за структурирование стихийно собранного архива; и, наконец, они отвечают за то, чтобы собранные воспоминания продолжали существовать и находились в открытом доступе для всех желающих.

Существующая в сети интернет, память не может функционировать без коммуникации; она тесно связана с интенциями непосредственных носителей памяти. Их память достаточно персонафицирована, и ее селекция формирует общую картину «народной памяти».

Также стоит добавить, что благодаря развитию технологий само насыщение исторической памяти в режиме он-лайн происходит в разы быстрее; к этому процессу могут быть подключены все желающие, имеющие доступ в интернет, т. е. по объему и диапазону воспоминаний интернет существенно превосходит возможности любого архива.

В заключение, хотелось бы особенно отметить тот факт, что в условиях «разбросанности» ветеранов Афганистана по стране и бывшему СССР, поддерживать взаимоотношения и, тем более, заполнять архив воспоминаний — дело довольно трудное. И в этом

случае интернет играет позитивную роль. Благодаря таким сайтам, мы можем воочию наблюдать, как общее прошлое объединяет пользователей на общее дело в настоящем и позволяет им воплотить в жизнь свою активную интенцию «желания помнить».

Литература

Афанасьева Л.И., Меркушин В.И. Великая Отечественная война в исторической памяти россиян // Социологические исследования. 2005. № 5.

Данилова Н. Мемориальная версия Афганской войны (1979-1989 годы) // Альманах «Искусство войны», 2009. Режим доступа: <http://www.navoine.ru/articles/925>

Кинсбургский А.В., Топалов М.Н. Реабилитация участников афганской войны в общественном мнении // Социологические исследования. 1992. № 1.

Нора П. Поколение как место памяти // Новое литературное обозрение. 1998. № 30.

Нора П. Историки поняли, что законы — очень опасная вещь (интервью с П. Нора) // Онлайн-портал «Уроки истории, XX век». Режим доступа: <http://urokiistorii.ru/current/view/2010/31/nora-и>

Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999. С. 7–50.

Flick U. Qualitative Online Research: Using the Internet / An introduction to qualitative research (Third edition). SAGE, 2006, pp. 254–271.

Hess A. In digital remembrance: vernacular memory and the rhetorical construction of web memorials // Media Culture Society. September, 2007. Vol. 29. № 5, pp. 812–830.

Dijck J. van. Mediated Memories in the Digital Age, Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.

House N. van, Elizabeth F. Churchill. Technologies of memory: Key issues and critical perspectives // Memory Studies. September, 2008. Vol. 1, № 3, pp. 295–310.

Материалы, использованные при написании статьи:

Сайт «ПВ КГБ СССР в Афганистане в 1979–1989» // Режим доступа: <http://pv-afghan.ucoz.ru/>

Интервью с ветеранами боевых действий в Афганистане в рамках проекта «Историческая память как фактор социализации и идентификации: сравнение России и Польши» (время проведения интервью — весна 2010 года)

Публикация на сайте движения «Мемориал» // Режим доступа: <http://www2.memo.ru/s/5.html>

Журнал можно приобрести в редакции или заказать по пересылке.

Адрес редакции:

117259 Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5

Тел.: (495) 128-86-18

Факс: (495) 719-07-40

e-mail: rusica@isras.ru

Все права на материалы, опубликованные в журнале, принадлежат редакции и авторам. Публикации журнала не могут быть воспроизведены в любой форме без разрешения редакции.

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, радиовещания и средств массовых коммуникаций (регистрационный номер ПИ № 77-9679)

Учредители:

Институт социологии РАН

Российское общество социологов

Над номером работали:

Научный редактор Ирина Ксенофонтова

Выпускающий редактор Мария Бълхова

Оригинал-макет Елена Макеева

Отпечатано в ООО «Центр полиграфических услуг «Радуга»
ул. Автозаводская, д. 25

www.raduga-print.ru. www.radugaprint.ru

Заказ № 129-05/11.